

КІ 1332.749



ВОЛОГДА·XXI ВЕК



Николай КУЧМИДА

СКАЖИ, БРАТОК...

«Вологда. XXI век»

Николай КУЧМИДА

СКАЖИ, БРАТОК...

К-1332749



Вологда. 2003

Рс
к95 8412=Рус 16

Николай КУЧМИДА

Николай Павлович Кучмида родился в 1942 году в деревне Шайма Череповецкого района Вологодской области. После окончания школы учился в суворовском училище, служил, затем работал. Закончил Литературный институт имени А. М. Горького и работал в Череповце тележурналистом, переплетчиком, проводником пассажирского поезда, а также библиотекарем в городской больнице. Печатался Николай Кучмида в журналах «Север», «Юность», «Аврора». Автор нескольких сборников прозы, вышедших в разных издательствах страны.

Новый сборник Николая Кучмиды составлен из лучших, а также из новых произведений, написанных автором в последнее время. Живет в Череповце.

ДОРОГА

В кузове с полуоткиннутым брезентовым тентом холодно. Мы сидим, вжавшись друг в друга, посматриваем на убегающую назад дорогу. Она еще смутно-белая, нетронутая,— с резко печатающимся длинным следом нашего грузовика. Дорога, как мы, еще дремлет. Огромные сопки вокруг, заросшие черной щетиной леса, тоже еще дремлют.

Машина останавливается. Из кузова, приподняв брезент, спрыгивают трое. Они одеты в ватные штаны и куртки, называющиеся спецпошивами; на ногах — большущие валенки. На правом рукаве каждого — красная повязка. На повязке — черный круг, в круге — белая буква «Р». Регулировщик. За спиной у ребят — автоматы, за поясом — свернутые флажки: красный и желтый.

А мы снова поехали. И снова побежала назад дорога, и снова потянулся по ней крупный след новых протекторов. Там, вдали, остались эти трое с поднятыми на прощанье руками.

У нас же в кузове по-прежнему холодно и темно. Рассветы здесь больше похожи на сумерки, чем на начало дня. А не проглянет днем тщедушное солнышко — рассвет так незаметно и перейдет в настоящие вечерние сумерки, а за ними наступит ночь. Полярная ночь. И если она будет сухой и морозной, то огромный кусок неба заполыхает северным сиянием.

Минушей ночью его не было видно из-за низкого слоя облаков: из-за них так медленно и светает. Впрочем, мы были подняты по «тревоге»: начинались армейские учения. Нашей стрелковой роте было приказано стать ротой регулировщиков. Намного опередив основную колонну, мы и выехали на эту дорогу. Первыми.

Следующая остановка — моя и еще двух солдат моего отделения. Я знаками показываю это обоим. Они молча кивают: знаем. Один из них,

Александр Стриженков, служит последний год, мы призывались вместе. Другой — первогодок Лыткин, зовут: Толя.

В кузове останутся еще две группы. Так мы и будем на разных километрах этой лесной дороги нести службу регулировщиков. А после учений, которые закончатся неизвестно когда, та же машина подберет нас в обратном порядке. Нас соберут в один кузов, и лейтенант, встав на подножку кабины, выстрелит из ракетницы. Конец «боевым действиям».

Машина останавливается. Я беру автомат, флажки и выпрыгиваю. За мной прыгает первогодок Лыткин. Стриженков подает нам три пары лыж, палатку, печку, трубу, вещмешки... И тоже спрыгивает.

Из кабины выходит лейтенант, командир взвода. В руках у него топографическая карта. Он подзывает меня и показывает: регулировщик должен стоять вот тут, а колонну направлять сюда.

Все понятно: нас высадили на развилке. В этом месте дорога раздваивается,— колонна должна двигаться влево.

— Влево,— повторяет лейтенант.— А не вправо. Запомни, сержант. Влево!

К развилке, где нас высадили, тупым клином подходит лес. Огибая его, дороги расходятся. Одна уходит на юго-восток, другая на юго-запад.

— Вопросы? — обращается к нам лейтенант.

Вопросов к лейтенанту у нас нет.

Он садится в кабину, машина трогается. Из кузова кто-то кричит: «Привет с Заполярья!» Это относится к первогодку Лыткину. Вся рота знает, что его письма домой начинаются так: «Привет с Заполярья!»

Оставшись втроем на дороге, мы поднимаем на прощание руки. Как те трое... И смотрим вслед высокому кузову с полуоткиннутым тентом. Там, под тентом, остались две последние группы. Машина уже далеко...

Медлить, однако, нельзя: колонна может появиться в любую минуту. Я прикидываю, кого первым оставить на развилке,— и оставляю «старика» Стриженкова. С ним мы быстрее бы натянули палатку, нарубили дров, лапника, растопили бы печку,— словом, оборудовали бы себе жилье. Но мне хочется научить этому первогодка. Он в первый раз на зимних учениях, а их много еще будет до «полного и всеобщего разоружения», то есть до дембеля, и чем скорее рядовой Лыткин научится делу, тем лучше.

— Замерз?

— Местами.

— Надеваем лыжи.

Толя пробует надеть лыжи, не снимая рукавиц. Они у нас на меху — с отдельным продолговатым гнездом для указательного пальца: жать на

курок. С тугими лыжными креплениями в таких рукавицах не справиться. Толе не хочется их снимать, но приходится.

Взвалив на себя все имущество, мы углубляемся в лес. Проходим шагов пятьдесят, останавливаемся. На еловых лапах снизу доверху лежат пласты снега. Темно, почти ничего не видно. Гнетущая тишина. Для жилья надо бы выбрать место менее мрачное.

И мы находим его, менее мрачное место. Поляна нравится и Толе, и мне. Мы набрали на нее — и оказались со всех сторон окруженными елочками.

Первым делом мы вытащили саперные лопатки и разметили на поляне квадрат. Потом, вырубая в плотном снегу по большому кубу, осторожно поднимали их и относили в сторону. Лыжи пришлось снять.

Долго барахтались мы по пояс в снегу, но передохнули, когда показалась земля. Привалившись спинами к снежным стенам, мы не спеша перемотали портянки. Перекурили. И заметили: в лесу стало светлей.

Я напряг слух, стараясь услышать гул танков, но вокруг все еще была тишина.

Передохнув, мы вылезли из ямы и разобрали наше имущество. Вдвоем поставить и натянуть палатку трудно, но после второго раза — в первый мы перекосили ее, — справились и с этим. Я показал «рядовому Лыткину», как нужно ставить печку, чтобы ее можно было раскатить докрасна, но чтобы палатка не вспыхнула и не сгорела, осталась целой.

Прихватив ножи, мы пошли еще глубже в лес: за лапником. Нарубили его большую темно-зеленую кучу. И плотно и аккуратно, ветка к ветке, устлали лапником пол. А поверх раскатали три плащ-накидки. Дом был готов. Оставалось наколоть дров и затопить печку. Но я видел, что Толя устал, и пожалел его:

— Иди, смени Стриженкова.

Гул придвигался воющим комом. Мы со Стриженковым услышали его, когда с треском выворотили кряжистый пень. Придвигаясь, воющий ком распадался на рев двигателей, гусеничный лязг, скрежет...

Бросив пень, я быстро надел лыжи и, несколько раз оттолкнувшись палками, выскочил на дорогу.

«Рядовой» стоял на своем посту и, как опытный регулировщик, четко указывал поворот.

А мимо Лыткина Толи шла и шла танковая колонна, за ней — гусеничные тягачи, они тащили за собой минометные плиты и гаубицы с торчащими назад стволами. Потом потянулись высокие армейские грузовики, между ними зашныряли штабные «газики». Белая нетронутая дорога на глазах превращалась в коричневую.

Следом за первой колонной двинулась вереница тягачей и машин с пехотой. Один к одному сидели вдоль бортов одетые в белые маскировочные халаты стрелки-автоматчики, гранатометчики, химики-дозиметристы со своими приборами, радисты с высоко выставленными удилищами антенн.

Покатили кухни и фургоны с красными крестами со всех сторон. И снова поползли, вгрызаясь гусеницами в дорогу, средние, легкие и тяжелые тягачи.

И вся эта техника, набитая «живой силой противника» (так говорится в Уставах) шла прямо на Лыткина, на его красный, поднятый над головой флажок, а вторым флажком, желтым, он отправлял ее влево. И так он засмотрелся на этот парад, что долго еще стоял с разведенными вверх и влево флажками,— хотя все уже кончилось. «Армия» прошла.

Лязг гусениц и рев карбюраторов снова превратились в воющий ком. И чем дальше уходила колонна, тем заметнее этот ком тускнел и глохнул. Над лесом и над дорогой сходилась тишина...

Потрескивают в печурке сухие корни, которые нам удалось со Стриженковым отломать от вывороченного пня. За печкой сушатся мелкие наколотые дровишки. Стриженков готовит чай. Сначала он набрал три котелка снега и поставил их на печь. Когда снег растаял, слил воду в один котелок. Вода скоро закипит. Стриженков достал наш суточный сухой паек, разделил на троих. Сам он, «старик», ожидая, пока закипит вода, примостился перед раскрытой печкой.

Вода закипела. Стриженков снимает крышку с котелка, льет в крышку кипяток и сыпет чай. Это заварка. Потом берет банку мясных консервов, вскрывает ее штыком, мясо вываливает в другую крышку от котелка. Ставит ее на печь подогреть.

Мы едим консервы, жуем хлеб, пьем чай. Ясно одно: так вкусно мы никогда не ели.

Перекурив, я натягиваю куртку и выползаю на мороз. Иду в темноте по узкой, протоптанной нами тропинке. Поднимаю голову... Небо очистилось от облаков, и теперь высоко в черноте рассыпались звезды: сверкающие и слегка вибрирующие колючки. Кругом тихо. Я выбираюсь на дорогу, иду к развилке.

«Рядовой» бьет рукавицу о рукавицу, прыгает, пляшет. Заслышав мои шаги, всматривается в меня, узнает и изо всех сил кричит:

— Стой! Кто идет?

— Не ори,— отвечаю я Толе.— Давай флажки.

Он сует мне флажки и тут же убегает к палатке. А я, оставшись один, осматриваюсь... Тихо, светло. Дорога покрылась корочкой льда и не кажется коричневой и истерзанной. Дорога...

Вдруг она словно качнулась. Так бывает, когда из-за дальнего поворота выезжает машина с включенными фарами.

Да. Из-за сопки выехала машина. Она быстро приближается, высвечивая вытянутое тело дороги. Фары превращаются в слепящие, дымящиеся клубы.

Знакомый грузовик с брезентовым тентом останавливается рядом со мной. Из кабины выходит лейтенант, командир нашего взвода. Я встревожен: неужели нас перебросят?.. Лейтенант подходит, я приветствую его, как положено, но ему не до этого.

— Через полчаса со всем имуществом стоять здесь, на развилке.

— Есть! — отвечаю я командиру.

Он возвращается к машине, садится, хлопает дверцей. Водитель включает дальний свет. Грузовик уезжает.

Из леса настороженно, как два партизана, выходят Лыткин и Стриженков. Они слышали, что машина остановилась, а это значит — своя, и хотели, может быть, с кем-то о чем-то поговорить, но поздно: машина уехала. Дорога снова пустая.

Я передаю им приказ лейтенанта. Стриженков сдержан: «старика» к таким поворотам не привыкать. Но невольно заулыбаешься, глядя на первогодка: от изумления он открыл рот и вытаращил глаза.

Я веду Толю к палатке — Стриженков остается на развилке. С ним мы быстрее бы разрушили и скрутили свое жильё, но мне хочется закончить сегодняшнее Толино образование.

Запомянай, салага.

Сначала мы вынесли на поляну печурку, вытряхнули все из нее. Саму печурку вдавили в снег, чтобы остыла. Потом мы свернули плащ-накидки, которыми был накрыт лапник. Поднатужились и высвободили кол, державший палатку. Отвязали боковые веревки. Палатка рухнула. Мы сложили ее по швам и связали. Яму закидали теми же вырытыми кубами снега.

Все?

Все.

Надев лыжи, мы взвалили на плечи свое барахло и пошли к дороге. Пройдя несколько шагов, обернулись... Оглядели бывшее стойбище. Ничего... Выпадет снег, выпадет много снега, и загаженная, развороченная нами поляна снова станет белой и чистой.

Нас по-прежнему было трое. Мы стояли на обочине пустой дороги, ждали машину. Черная глыба неба неожиданно вздрогнула. По ней пробежала бледная световая судорога. И началась безмолвная игра голубых, розовых и зеленых сполохов северного сияния.

Запрокинув головы, мы смотрели на это зрелище, к которому, наверное, невозможно привыкнуть — проживи ты на севере хоть всю жизнь.

Не останавливаясь и не повторяясь, бежали по небу мелкие голубые волны. Вдруг они вытянулись по вертикали и позеленели. Небо стало похоже на высокий, в складках, занавес. Он мгновенно исчез. На его месте разгуливал бледный розовый свет. Его сменили голубые фонтаны, тут же стертые нашествием беспокойных, встревоженных ярких зеленых вспышек. Три эти цвета: розовый, голубой и зеленый,— играли друг с другом, то сжимаясь в комочек, то заплескивая все небо. Но вот оно всколыхнулось стремительной световой перебежкой... И все погасло. Над нами была чернота.

А мы долго еще смотрели в эту мрачную бездну с рассыпанными по ней звездочками, похожими на ледяные колючки... И небо представилось нам огромной пристрелочной мишенью. Черная, она вся была в мелких рваных пробоинах.

Тусклым и жалким показался нам свет фар подъехавшей за нами машины. Стриженков залез в темный, накрытый брезентом, кузов, а мы с Лыткиным стали подавать ему автоматы, печку, трубу от печки, лыжи, палатку... Потом залезли сами. Кто-то постучал кулаком по кабине, и мы поехали.

В кузове собрался уже почти весь взвод. Ребята потеснились, уступая нам место. Устроившись, Толя Лыткин сказал:

— А мы видели северное сияние!

— Привет с Заполярья,— ответили ему из темноты.

Помолчав, Толя снова заговорил:

— И спать неохота, правда?

На это ему никто ничего не ответил, но ребята зашевелились, выглядывая Толю: мол, чего, молодой, расшумелся? А Толя не остановился. Он толкнул в бок дремлющего соседа и по-отечески, участливо спросил:

— Ну как, сынок, служба?

Тот буркнул:

— Пошел на...

— Нехорошо! — строго заметил Толя и, поерзав еще и пооглядываясь, приткнулся к нему же. И сразу заснул.

Кто-то рядом со мной курил. Я вытащил сигарету, наклонился к мерцающему угольку.

— Привет,— тихо сказал куривший.

— Привет,— так же тихо ответил я, узнав его по голосу.

...И вот снова нас куда-то везут и везут; и снова сидим мы в темном

холодном кузове, посматривая на сопки, дорогу... Посматривая да покуривая.

Не предполагая, что все наши трудности и труды — мирный обыкновенный вздор; и что скоро все это, все это кончится.

ОДНАЖДЫ

В темноте, на площади между автобусной остановкой, освещенной слегка, и деревянным зданием станции, тоже слегка освещенной, кто-то потянул Сарынина за рукав.

— Эй!..

Сарынин обернулся.

Перед ним стоял пьяный парень. Лет двадцати. У парня было широкоскулое лицо. Потрескавшиеся губы растянулись в просительной улыбке.

— Дай закурить?..

Сарынин достал пачку «Примы». Парень долго, старательно вытаскивал сигарету. Вытащив, расстроганно произнес:

— Спасибо!..

— Ладно,— сухо ответил Сарынин.— Спички есть?

Парень отрицательно мотнул головой. Сарынин придвинулся, зажег спичку. Парня покачивало, он промахнулся. Наконец, прикурил. Выдохнув дым, сказал:

— Ты — человек!..

Сарынин направился к автобусной остановке.

— Эй!.. — снова окликнул его парень.— Я оттуда... Я из Чечни. Выпить хочешь? Я угощаю...

Помедлив, Сарынин ответил:

— Нет.

Он «завязал». Точка.

— Посмотри на меня...— сказал парень.— Я живой.

Сарынин остановился. Посмотрел на него...

Парень как парень. Зовут, наверное: «Сашка»... Или: «Витька»... Или: «Серега»...

(Этот парень не знает, что я «афганец». Не знает, что я тоже: «Посмотри на меня... Я живой».)

— Давай знаешь за что выпьем?..— сказал парень.

Глядя в асфальт, он думал. Сарынин тоже задумался...

Он приустал.

«Гражданскую оборону» всерьез никто принимать не хотел. Когда он натягивал противогаз, все смеялись.

Он получал пенсию и мог бы никаких занятий не проводить, но пришла повестка. Расписываясь, он почувствовал, что волнуется. Он сапер. Может быть, он понадобился как сапер?..

Военкомат предложил ему вести среди медиков «гражданскую оборону». Он согласился. Работа сделала его собранным, нужным. Он бросил пить...

Вечерами он готовил конспекты. Их проверяли и сокращали. Вычеркивали те куски, которые он приводил как примеры. Их вычеркивали, а он не мог с собой ничего поделать. Конспект разбухал воспоминаниями об Афганистане.

...Из задумчивости Сарынина вывел ожог: парень, качнувшись, провёл ему по руке своей сигаретой. Сарынин хотел отодвинуться, но тот вцепился в него:

— Постой, сейчас!..

Словно ища подсказку, за что бы им выпить, парень обвел глазами темную площадь. Сарынин тоже оглядел ее.

Площадь,— пустая и темная...

Парень вдруг дернулся:

— Читай!

Сарынин посмотрел, куда он показывал.

Забывтый, оставшийся еще с советских времен (с афгано-советских?), выхваченный из темноты лампочкой, над зданием станции краснел длинный обтрепанный лозунг: «За мир во всем мире!» (Маленькие деревянные станции любили длинные красные лозунги.)

Парень потащил Сарынина через площадь. Сделав по инерции несколько шагов, Сарынин с усилием освободился.

— Некогда. В другой раз. Прощай.

И, не оборачиваясь, пошел...

Он «завязал».

Точка!

Но идти было некуда... То есть, идти нужно было домой, к конспекту.

И Сарынин сбавил темп. А потом и остановился.

Вытащил сигарету...

Прикуривая, оглянулся. Парень пропал.

И площадь без него совсем опустела.

Было темно...

Темно и тихо.

Было тихо, пусто, темно.

Лишь светила — наполовину стеклянная — знакомая дверь привокзального ресторана. Светила невдалеке, равнодушная к «завязавшим», к поставившим на ней точку.

И Сарынин отбросил окурок. Сосчитал деньги.

Семьдесят два рубля...

И направился к ней, такой равнодушной, такой безучастной к происходящим в стране переменам.

Резко открыв дверь, он лоб в лоб столкнулся с парнем. Этим же!.. Тот облапал его, как друга.

— А я думал, ты на поезде уехал куда-то. Уехал и даже не попрощался. Эх, ты!..

В зале было накурено. Парень подвел Сарынина к свободному столу и, когда оба сели, протянул через стол руку:

— Генка.

Сарынин тоже представился:

— Павел.

И на всякий случай негромко добавил:

— Павел Иванович.

Парень, как бы уточняя, быстро переспросил:

— Пашка, да?..

— Да,— согласился устало Сарынин.— Пашка...

К ним подошла пожилая официантка. Парень отдельно сказал:

— Мы хотим выпить. Это мой друг. Понятно? Это мой лучший друг!

Официантка строго, но опасливо оглядела обоих. Полуотвернувшись, пробормотала: «Опять он...»

Сарынин немного смутился. Немного... К кому это относилось: к парню или к нему, Сарынину? Он здесь бывал...

Ничего не спросив и не записав в блокнотик, официантка ушла. Но скоро вернулась; принесла на подносе графинчик водки, хлеб, две стопки, две вилки. И две тарелки с какой-то закуской.

— Вот! — воскликнул парень.

И потряс руку официантке.

— Понимает!..

Радостно улыбаясь, повернулся к Сарынину.

«Птенец»...— подумал Сарынин. «Птенец, вывалившийся из гнезда». Нет, не то; не совсем то...

Видя перед собой оживленное молодое лицо, он вспомнил кого-то из своего взвода.

Не кого-то, а себя самого.

Нет, и это не то...

Птенцам уместней сидеть за столом с птенцами. Взрослым птицам — со взрослыми птицами.

А воевать?..

И воевать.

Но когда на войну с птицами (дикими, хищными, с измазанными кровью когтями и клювом) отправляют птенцов,— войны затягиваются... И вернувшийся оттуда птенец (живой) — редкость. Посмотри на него, страна: он уцелел. Уши, глаза, нос, две руки, две ноги... Посмотри на него, страна... И поставь на нем точку.

Вот о чем подумал Сарынин. Ему вспомнился вычеркнутый из конспекта кусок. Однажды...

Парень высоко поднял налитую стопку. Блестя глазами, нетерпеливо, разгоряченно глядел на Сарынина.

— Пашка, за мир во всем мире? Да?..

И, как клятву, торжественно, по слогам, произнес:

— За мир во всем мире! Да, Пашка?..

— Да! — крикнул Сарынин.

ОТ ПРИСТАНИ ДО ЗАТОНУВШЕГО СОЛНЦА

*Ах, я люблю те предметы,
Которые трогают мое сердце.*

Н. М. Карамзин

По вечерам, когда от пристани до затонувшего солнца вытягивалась желтая пустая аллея, из-за поворота реки, гудя сильно и молодо, выплывал теплоход.

Весь в огнях, с музыкой, белый,— теплоход для села был маленьким праздником. Молодые собирались на пристани: зеленом дебаркадере-поплавке. Ребята (в кепочках, натянутых на глаза) смешили девчонок разными нескладухами. Девчонки прыскали со смеху, приговаривая: «Ой, дурак!..»

Теплоход вплотную подходил к пристани, толкал ее крепкой скулой. Пристань вздрагивала. Смех затихал...

Самые отчаянные залезли без трапа на теплоход, кричали оставшимся на берегу: «Привет родителям!» И бежали в буфет за пивом и красивыми сигаретами.

Играла музыка, пенилась у борта вода. Язычница Марья, прозванная так за то, что ругалась наравне с мужиками, выволакивала из будки

трап. Матросы помогали Марье приставить его к теплоходу. И теперь все смотрели на трап и ждали... Только кто-нибудь начинал спускаться — командированный или просто приезжий — его разглядывали с головы до ног. Прикидывали: кто он, почто приехал? А если трап оставался пустым, чувствовали себя как обманутыми.

Последними сбегали свои, местные. Раздавали кому пиво, кому сигареты. Марья стаскивала, ругаясь, трап, заволакивала его в будку.

Высоко вверху капитан в синем кителе и белой фуражке притягивал рукоятку гулка. Все вздрагивали...

Теплоход отходил боком. Оставшиеся на берегу глядели на отодвигающийся от них борт... Думая о том вечере, когда сами поднимутся по дощатому трапу и так же медленно, у всех на глазах, отчалият от пристани.

А теплоход, уходя дальше и дальше, приближался к узкой желтой аллее. Та начинала покачиваться, извиваться. Теплоход рвал ее — она разламывалась на куски, и волны раскидывали по реке ее оранжевые обломки.

Но время шло, вода успокаивалась, а солнце краснело. И теперь поперек реки вытягивалась красная, тонкая, прерывистая тропинка.

* * *

Праздник кончился, занавеску можно задернуть. Так Лиза и сделала. Она жила в каюте на дебаркадере. Из единственного окна был виден пятачок опустевшей пристани.

Задернув занавеску, Лиза включила свет. Кровать, столик, стул, — вот и все, что было в каюте, а попросту — маленькой чистой комнатке. Она очень нравилась Лизе Манеевой, семнадцатилетней практикантке областного культпросветучилища. Все кругом нравилось Лизе: и река, и пристань, и село, вытянувшееся по берегу. А главное то, что практика была первой. (Хора в селе до приезда Лизы не существовало, но он будет. Создаст его она, Лиза Манеева. И назовет, например, так: «Русские зори». Или так: «Зори Севера».)

Напрасно она свет включила: комары налетят. А мотыльки сначала притихнут, а потом будут биться по стенам. Лиза потушила свет и, не запирая каюту, вышла на воздух.

От пристани к низкому песчаному берегу тянулся длинный пологий трап. Лизе хотелось сойти медленно (как практикантке), но упругий трап так закачался, что ей пришлось почти бежать, высоко поднимая колени.

Оказавшись на улице, она неторопливо пошла по мосткам, казавшимся ночью при лунном свете голубоватыми. Вдыхая запах реки, она вслу-

шивалась в звуки, незаметные днем: в шорох воды, набегающей на берег, в поскрипывание деревянных калиток.

Мостки вели ее, вели и привели тоже к воде, но довольно далеко от дебаркадера. Здесь было пусто, совсем пусто. А в неподвижной реке, слегка покачиваясь, лежала большая расплывшаяся луна.

Оказаться бы рядом с луной и потрогать... Купальник, жалко, остался в каюте. Но пусть, она же одна. И Лиза нерешительно расстегнула первую пуговку.

В этом месте, в стороне от пристани и даже в стороне от села, никто не купался, тем более ночью. И все же, раздевшись, Лиза настороженно огляделась. Кругом было темно и тихо. Она выпрямилась...

Ей стало радостно и жутковато. Напряженно улыбаясь, она вошла в реку. Вода была теплой, дно — чистым, в мелких песчаных ребрах.

Когда вода стала по грудь, Лиза нырнула, вынырнула и перевернулась на спину. Запомнив, где начиналась луна, она поплыла к ней, глядя в черное звездное поле. Она поднимала руки — и вода стекала с них черными каплями. Как хорошо, оказывается, плыть без купальника, — плыть ночью, одной. Страшно, и все-таки плыть.

А где луна?.. До луны было еще далеко. Лиза перевернулась на живот и поплыла теперь «по-собачьи». И вдруг она испугалась холодной глубины и безлюдья на берегу. Бешено колотя ногами, она повернула назад. У берега успокоилась, но плавать расхотелось.

Съежась, она вышла из воды. Обсохнула, накинула сарафанчик, куртку. И, сорвав по пути какой-то цветок, вернулась на пристань.

* * *

К утру погода испортилась, потянуло холодом. Вода потемнела; сделалась шершавой как вскопанная гряда. Лиза сбежала босиком по трапу, осторожно ступила на мостик, где женщины полоскали белье. Умылась. Затем, выпив парного молока (Марья подкармливала ее), прошла в клуб.

В клубе тоже было холодно. Летом не топили, а щелей хоть отбавляй. Хорошо что пятница: вечером — кино, репетиции нет. Она будет завтра. Будет, если из Вологды вернется на теплоходе Саша. То есть репетиция состоится и без него, но лучше бы он приехал, этот Саша. Трудно проводить репетицию без солиста...

Взяв пачку нот, Лиза устроилась в последнем ряду пустого зрительного зала с затемненными окнами. Впереди, отсвечивая спинками, тянулись к сцене ряды отполированных кресел. Если наклонить голову набок, зал становился похожим на дно реки в твердых песчаных ребрах.

Сцена была занавешена. В первый раз Лиза увидела Сашу тут, на сцене. Он стоял в белой рубашке на фоне темно-синего занавеса. Стоял и смотрел на Лизу, подходившую по проходу, чтобы спросить, а какой кружок ведет он?

Он ответил, что никакого кружка не вел, не ведет и не хочет вести. Он плотник, окончил СПТУ. Саша легко спрыгнул со сцены...

Лиза посмотрела на его руки. Наверное, потому, что руки у плотников должны быть сильными и большими. А у Саши руки были обыкновенные, мальчишеские. И, конечно же, на правой руке, на безымянном пальце, красовалось колечко с зеленым стеклышком.

Лиза иронично усмехнулась,— так усмехалась одна девушка со старшего курса.

— Подарили?..

— Чувиха дала поносить.— Саша смотрел ей прямо в глаза.

Лиза, не выдержав его взгляда, отвернулась.

— Тебя как звать? — спросил плотник Саша.

— Лиза.

— «Бедная Лиза» — это не про тебя?

— Про меня.— И Лиза тоже посмотрела ему в глаза.— Читал?

— Мне про это читать еще рано.

Лиза покраснела... (На что он намекает?)

А Саша смерил ее взглядом и с таким интересом уставился на ее ноги, что Лизу это забеспокоило.

— Ребята сказали,— протянул Саша,— что у тебя ноги кривые.

Лиза быстро осмотрела свои ноги: прямые, нормальные ноги. Стройные. Многие девочки могли бы ей позавидовать. Она взглянула на Сашу: не видишь, что ли?.. Саша, следя за ней, насмешливо улыбался. Помедлив, сказал:

— Спутали с кем-то...

Таких смелых глаз ни у кого из мальчишек Лиза еще не видала. Смотреть в них, не отрываясь, как стоять на песке раздетой.

...Лиза даже замотала головой, чтобы прогнать стоявшее перед ней лицо Саши. Прогнав, снова уткнулась в ноты.

У него два отгула, вот он и в Вологде. Там живет девушка — может быть, намного красивее Лизы. Та девушка, которая дала поносить ему свое простенькое колечко. Скорей бы кончалась практика!..

Лиза представила: она вернулась в училище. Ее вызывают к директору, строгой женщине с длинной косой, уложенной, как корона. «Ты же отличница, Лиза! Училище надеялось на тебя... А ты? Ты не разучила с хором ни одной песни. Мне за тебя стыдно, Манеева!»

Представив это, Лизе самой стало стыдно. Никаких Саш, никаких «Зорь Севера»! Причем тут «Север», какие такие «Зори»? Пусть будет просто хороший хор, — на два голоса.

Но какой же хор без солиста?..

* * *

Стемнело. Поднялась волна, и пристань покачивало. Из своей каюты Лиза слышала, что на пятачке дебаркадера уже собираются. Кто-то играл на гармошке, ругалась по привычке Марья.

Раздался гудок. Лиза отдернула занавеску. Пристань вздрогнула от толчка, заскрипели сходни.

По трапу — в новой модной куртке,— весело улыбаясь, спускался Саша.

— Санька!.. — обрадованно загалдели на пристани.

— Че? — еще шире улыбнулся Саша.

— А ниче!..

Все засмеялись — и Саша тоже.

Глядя на него, Лиза сама невольно улыбалась. Выбежать бы из каюты! Чтобы он увидел ее: в лучшем платье. Она простояла в нем до самого теплохода: боялась помять. Выбежать бы, подойти к Саше, побыть рядом.

А колечко?..

Лиза придвинулась к стеклу так близко, что ударились о него лбом. Колечко было на месте, и улыбка сошла с ее губ. Не выйдет она из каюты. Лиза даже отвернулась от окна.

Спустя минут десять теплоход отчалил. Ребята и девушки повалили гурьбой за своим Санькой; он что-то рассказывал, а они смеялись. Потом их голоса и шаги удалились, и пристань опустела. Кругом снова стало тихо. Лишь плескалась, ударяя о дебаркадер, вода.

Вот и все. Лиза сняла платье, свернула его, сунула в чемодан. Саша приехал на репетицию, он хорошо поступил,— хотя мог бы и не приезжать. Что такое первая репетиция!..

Лиза переделалась в старое удобное платье, надела куртку, застегнула ее на все пуговицы, подняла ворот. Да, у Саши хороший голос, ему нужно петь, нужно учиться. Вернувшись в Вологду, Лиза поговорит о нем с директором училища. Одаренным людям надо помогать, вот она и поможет Саше. А все остальное Да, все остальное ее не касается. Каждый любит того, кто ему нравится.

Лиза занавесила окно и вышла. Вечер был ветренный, сырой. Трап намок, дорога вдоль берега почернела. Ветер смахивал дождинки с ли-

ствев деревьев, и дождинки летели прямо в лицо. Пусть летят, она и вправду «бедная Лиза».

Дойдя до конца улицы, Лиза повернула назад, к дебаркадеру. Теперь ветер дул в спину. Холодно было. Грустно и холодно. Не так холодно, как грустно и одиноко.

* * *

На берегу у начала трапа кто-то стоял. Лиза испугалась и затаилась. Увидев, что она струсилась, тот, у трапа, отвернувшись в сторону, негромко пропел:

*По деревне идите,
Играете и поете.
А мое сердце раздражает
И спать не даете.*

Лиза медленно приближалась к трапу. Ей стало как тогда ночью, когда она входила в реку: радостно и жутковато.

— Я приехал,— сказал Саша.

— С приездом— ответила Лиза.— Повидался с девушкой?

— С какой девушкой?

— С этой.— И Лиза кивнула на его безымянный палец с колечком.

Саша повернул руку к свету, посмотрел на вспыхнувшее зеленое стеклышко. Потом, покрутив, снял кольцо, протянул Лизе.

— На. Сам делал.

Словно листик... Словно только что высунувшийся первый весенний листик,— вот что лежало на Сашиной ладони, показавшейся Лизе широкой и крепкой, как у настоящего плотника. И колечко теперь тоже нравилось ей. Она взяла его и примерила на свой палец,— на один, на другой, на третий. Колечко ни на одном не держалось.

— Убавлю и принесу,— сказал Саша.— Наденешь?

— И буду твоей чувихой?..

Он широко улыбнулся:

— Да!

Лиза опустила голову.

— У тебя куртка новая

— Тебе нравится?

— Нравится...

— В Вологде купил.

На Сашином лице проступило волнение.

1332749

— Я целоваться не умею...

— Я тоже,— шепотом ответила Лиза.

Они потянулись друг к другу, прижались щеками.

— Тебе пора домой,— прошептал Саша.— Иди. Я еще постою здесь...

— Нет, ты тоже иди домой. Ты же целый день плыл.

— Я плыл и думал: встретишь или не встретишь?

— А я думала: встречать или не встречать?

— Теперь мы встретились.

— Да...

Они отступили друг от друга. Саша крепко стиснул ее ладошку, и они расстались.

Лежа под одеялом и слушая, как за стеной с тихими всплесками ходит вода, Лиза думала о Саше. Думать о нем, вспоминать его теплую щеку, его сухие царапающиеся губы, мягкие волосы,— было сладко и страшно. Как плыть в темноте...

Она знала, что Саша сейчас тоже думает о ней, и, когда незаметно уснула, увидела себя и его плывущими к огромной покачивающейся луне.

ДРУГАЯ СТОРОНА

Поезд остановился.

Из окна тамбура, из его оторванной форточкой, был виден узкий, как вставленный в рамку, прямоугольник неба. Огромного, голубого и неподвижного.

А Коля курил. И дым, плавая возле окна, подбирался к рамке, переползал через край... И от неожиданности замирал. Потом делал рывок — и таял. В огромном и голубом...

Поезд шел почтово-багажным, то есть не торопился. Пассажиры его привыкли подолгу стоять в тишине у какой-нибудь Сизьмы, похожей на сироту. У Сямжи, похожей на Сизьму...

И вот он снова остановился.

В девятом, общем, вагоне уже никто не спрашивал проводника, строгую тетку с озабоченным крестьянским лицом: сколько будем стоять? Ответ знали: «Кому надо, тому видней, сколько будем».

Коля отслужил армию и поступил в институт. В тот институт, о котором думал еще до армии. Экзамены позади, он студент. Через месяц он вернется в Москву, начнется интересная жизнь. Он принят. «Он принят!»

И Коле захотелось увидеть, как далеко-далеко, впереди поезда, красный огонь светофора погаснет — и вспыхнет зеленый.

Коля потушил сигарету, прошел по всему вагону и высунулся в открытый проем рабочего тамбура.

Проводница снизу, с насыпи, внимательно оглядела его. Скромный, молоденький, в светлой рубашке...

А Коля спрыгнул и набрал полные туфли песка. Он потряс ногами, выкидывая песок сквозь дырочки туфель, переступил на твердое место.

— Студент, что ли? — спросила тетка.

— Да,— улыбнулся Коля.

У него была запоминающаяся улыбка: слабовольная В молодом человеке с такой улыбкой есть или должно быть что-то еще доброе, чистое.

Подошла проводница десятого, плацкартного. В одной руке — свернутый желтый флажок, в другой — кулек с малиной.

— Угощайся, Маруся.

Тетка осторожно, двумя пальцами — указательным и большим — взяла крупную перезрелую ягоду. На заскорузлые пальцы из дырочки ягоды брызнул сок.

Ах, как Коле захотелось малины!.. Захотелось тоже, двумя пальцами, взять из кулька ягодину. Положить в рот. И почувствовать сладкий вкус, полузабытый за годы службы. Они прошли для него в пехоте, на севере, по горло в снегу.

Малина!..

Коля подумал, что его лицо или глаза могут выдать его. И, проглотив слюну, он полутвернулся.

Проводница плацкартного сказала, что малину продает старуха у передних вагонов — с другой стороны поезда.

Коля постоял... Молча поднялся в тамбур. Открыл противоположную дверь. И спрыгнул...

Другая сторона была спокойной равниной в покачивающихся колокольчиках, ромашках и метелках светлого ковыля. Справа и слева равнину обступал редкий светло-зеленый лесок: ельник-подросток. За ельником проглядывала деревня. А за деревней и еще за одним полем синел настоящий лес: взрослый, серьезный...

Коля хотел сбежать по крутой насыпи. Но, запнувшись нога за ногу, он упал и так и скатился. Внизу, на траве, вскочил. Кое-как отряхнулся. И побежал...

Он бежал вдоль состава к домику. Там, окружив крылечко, стояли полуодетые люди. А один — в бледной застиранной майке — не участво-

вал в происходящем. Он сидел наверху насыпи и смотрел вдаль. Поверх домика, ельника и деревни...

Но все это: галдящие полуодетые люди, старушка в белом платке с корзиной малины, синий далекий лес, зеленое поле и песчаная насыпь,— все это омывалось огромным, голубым и неподвижным.

И Коля остановился...

Мама Коли верила в Бога. Живя среди атеистов, она говорила о Боге, понизив голос, чуть ли не шепотом. Она говорила Коле: «Бог — это то, что в тебе, и то, что вокруг тебя. Будь внимателен: ОН рядом. Бог — прямо перед тобой».

Остановившийся — с рассыпанными ветерком волосами, в выехавшей из брюк рубашке, растерянный,— Коля, не отрываясь, смотрел вперед.

Стоял и смотрел...

Длинно, негромко всплыл и вытянулся гудок. Люди, как по команде, отвалили от домика, стали карабкаться вверх, к вагонам. И этот, в бледной застиранной майке; даже этот, сидевший прямо на насыпи и глядевший на синий далекий лес,— тоже встал, отряхнул штаны, залез на подножку...

Остался маленький аккуратный домик. Вокруг домика покачивались колокольчики, ромашки, метелки светлого ковыля.

Покачивались, покачивались...

А справа дыбилась опустевшая насыпь с темным, странно торчавшим обрубком поезда.

Состав передернулся, закрипел, пошел... Коле закричали.

Он медленно повернулся.

И все увидели, что его лицо, только что приветливое, стало каким-то чужим, «не пассажирским».

Кричать перестали...

Равнодушно — как будто он местный; как будто он вырос тут, и, значит, это его родина — равнодушно и неторопливо Коля поднялся по насыпи к уходящему поезду, уходящему без него.

Уходящему прочь.

Уходящему, набирая скорость.

Уходящему, уходящему, уходящему...

Бежали перед глазами светлые полосы на вагонах. Скользили подножки. Он приготовился... Приближались поручни какого-то вагона. Приблизилась. Он схватился за них, повис. Его резко втянули в тамбур.

Опрокинутый на спину, лежа на грязном полу, Коля поднял голову... И слабо, неверяще улыбнулся. Точно в свой!

Тетка с озабоченным крестьянским лицом — это она втащила рывком, за шиворот, Колю — знакомая тетка, стоя боком в проеме тамбу-

ра, держала в вытянутой руке флажок. Чтобы тот, кому надо, кому видней...

Чтобы ТОТ, кто всегда рядом, кто всегда прямо перед тобой, видел: в общем вагоне почтово-багажного все на своих местах, и все живы-здоровы. Хотя бы на этот летний день...

Сам флажок ни о чем не ведал и ничего такого не понимал,— как все атеисты. Он был желтым обыкновенным флажком. Но, будучи желтым, обыкновенным, замызганным (даже свернутый в трубочку), он мелко-мелко трепетал на Огромном, Голубом и Неподвижном.

ЗИМОЙ РАНО ТЕМНЕЕТ

Кресло стояло у подоконника. Оно было высоким, а подоконник низким. Старик, садившийся в кресло, поворачивал голову и смотрел в окно. Он видел внутренний, сжатый домами, двор, заметенный снегом... Во дворе — десять-пятнадцать деревьев...

Когда старик устраивался в своем кресле, было еще светло. Прямоугольную форму двора подчеркивали две узкие, крест-накрест, тропинки. Они пересекались в центре прямоугольника. По одной из этих тропинок пробегала собака... По другой проходил человек: туда и обратно...

Белый пустой двор оставался белым, пустым.

Спустя час или два начинало темнеть. Для маленького беспризорного парка мягкие ранние сумерки были, возможно, лучшим временем суток. Полотнище снега, размеченное пересекающимися тропинками, утрачивало белизну дня. Оно слегка голубело... Стволы голых деревьев заметно чернели...

Еще через час или два зимний заброшенный двор сникал. Сникнув, он выглядел жалким, ненужным. Как старик в окне... И, видимо, от сознания своей обреченности деревья прятались внутрь себя, источая, как запах, беспросветную меланхолию.

Синие длинные тени на поголубевшем снегу — все это пропадало; превращалось в плотное, серое. Тропинки стирались,— обе становились невидимыми из окна. Человек, пробиравшийся полуразмытым прямоугольником, был уже без лица. Как деревья, среди которых он проходил, он тоже казался одетым во все черное. Вместо лица — пятно.

Садившийся в кресло старик...

Старик, садившийся в кресло...

Одиноким старик, занимавший свое любимое место у подоконника (не столько любимое, сколько привычное), вовсе не думал о том, что

если бы он был художником, то обязательно нарисовал бы и снег, и деревья...

Нет. Если он о чем-то и думал, глядя в окно, то совсем о другом. Наверное, о себе... А, скорее всего, о том, что зимой рано темнеет.

Но, может быть, он и об этом не думал. А, глядя в окно, просто смотрел в окно. И видел заброшенный, непосещаемый двор, заметенный снегом... Во дворе десять-пятнадцать взрослых невеселых деревьев.

Прямоугольную форму двора нарушали две узкие, но отчетливые тропинки. Они пересекались в центре прямоугольника. По одной из этих тропинок пробегала собака... По другой проходил человек: туда и обратно...

Зима как зима. Двор как двор.

Но, глядя в окно, старик испытывал ощущение некоторой странности... Ощущение странности, даже растерянности, которые испытывал одинокий старик, происходили по той причине, что он слишком поздно — позже других стариков — обратил внимание вот на что... На краткость человеческой жизни. На то обстоятельство, что выражается простенькой фразой: «Время летит».

Время летит, и натянутое, расстеленное по двору полотнище снега, расстриженное тропинками, уже утратило белизну дня. Поголубело... А стволы голых деревьев слегка почернели.

Старик, опустив лицо и понутив плечи...

Ближе к вечеру, опустив лицо и понутив плечи, старик...

Ближе к вечеру, опустив лицо и понутив плечи, внутренний двор глубоко задумывается о предстоящем для старика. Задумывается,— как уходя, уходя куда-то от старика. Уходя и проваливаясь, медленно проваливаясь в тихую, еле слышную музыку: мрачную, строгую.

Проваливаясь в нее, как в пустоту,— отрешаясь от всяких прямоугольников, от всяких пересекающихся тропинок...

И прощаясь со стариком.

День кончился.

Старик встал и включил свет: захотелось чаю.

Он видел и понимал, что день кончился и что приблизилась ночь. Он был в ясном, «здоровом» уме, согласившимся с очень многим. С тем, что время летит, жизнь прошла, и что он обыкновенный старик...

Все это видя и понимая; согласившийся даже с тем, что он видит и понимает не все, он решил без обиды на жизнь, на людей, на исчезнувшие между ним и людьми тропинки,— попить чаю. Просто попить чаю.

Это он и сделал неторопливо... Попил чаю. Крепкого и горячего.

Мысленно произнес перед этим само собой разумеющееся: «Господи, разреши мне попить с Тобой чаю».

А потом старик выключил свет. И снова стало темно: и за окном, и на кухне, где он сидел в кресле у подоконника. На кухне темнее, чем за окном. За окном немного светлее...

Но день кончился. Во дворе и вокруг двора наступила ночь.

И старик закурил сигарету... Может быть, последнюю.

Он по-прежнему сидел в кресле у подоконника. Кресло было высоким, а подоконник низким. И старик, не подозревая, просматривался из двора. Просматривался этим пустым двором с его забытыми всеми, стоящими далеко одно от другого и, в сущности, одинокими, как старик, деревьями. Черными в темноте...

И хотя наступила ночь, деревья из темноты видели... Тоже видели старика.

Вот он, в окне.

Смотрит на них, прощаясь с ними.

И думает о том, что время летит... Жизнь прошла... И что зимой рано темнеет...

Морщинистое лицо. Усталые грустные глаза. Дешевая сигаретка.

Это он, их старик.

СКАЖИ, БРАТОК...

(из повести)

Пассажирам ее вагона казалось, что...

Им, наверно, казалось, что они едут. За окнами все двигалось, пол дрожал. И они думали, что куда-то едут...

И были правы.

Они-то и ехали: кто куда, — а она никуда не ехала. Давно уже никуда не ехала.

Она не помнит, когда это произошло. Но от других проводников, своих напарников и напарниц, слышала: рано или поздно такое происходит со всеми. Перестаешь ехать. Ра-бо-та-ешь. Просто работаешь. Из поездки в поездку. Год за годом...

Равнодушная — не потому, что плохая; потому что невыспавшаяся — она сидела в служебке, открытой настезь — рабочая служебка и должна быть открытой настезь... Сидела, зевала, посматривала на часы. Вязать не любила — читать не хотелось. Хотелось спать. Но впереди ночь, на рассвете Мурманск. (Для пассажиров — конечная, для поезда — пункт оборота). Значит, спать можно будет залечь после уборки, это не раньше восьми утра.

А сейчас восемь вечера. Сиди и зевай. И думай, что тоже куда-то едешь. Едешь и ты... Едешь и едешь — едешь и едешь... А тебе уже сорок.

Ладно, об этом сейчас не время. В служебку она зашла покурить. Передохнуть немного.

Посидит, покурит... И пойдет будить кандалакшских.

Заорет не своим голосом: «Кандалакша! Следующая станция Кандалакша!»

* * *

Когда все разошлись, и Таня Гурина осталась одна, — в тамбуре появилась Ольга, ее напарница. Умытая и причесанная. В повседневном, но вычищенном костюме: черный берет, черный пиджак, черная юбка.

Пиджак — поверх белоснежной блузы. Воротничок блузы скреплен чем-то похожим на «бабочку». Похожим. Но не «бабочкой», — это было бы неуместно для проводника. И уж, конечно, не брошью, как у некоторых. Простая декоративная шпилька. Вот и все дела...

На ногах — чулки с матовым легким оттенком. Черные туфли: широкий прямой каблук, сбоку пуговка. И тупой носок.

Танька, стоящая у подножки и мерзнущая... Со своим поднятым воротом; с беретом, натянутым на глаза; правая рука — в левом рукаве по локоть, левая рука — в правом... Если она, Танька, смахивала на невыспавшуюся хмурую шлюху, то Ольга даже после сильного перепоя выглядела как Ольга. Сдержанность и аккуратность во всем. И взрослое лицо владеющего собой человека.

Такой она и появилась в тамбуре.

Постояла, глядя на Таньку сверху вниз...

Молча сошла по ступеням.

Достав из кармана конфетку, протянула Таньке. («Барбарис».) Любимые Танины леденцы.

— Не робей... Я на десять минут.

Пересекла узкий перрон, поднялась в тамбур соседнего поезда. Спустилась на платформу перед вокзалом.

Там она спросит у проводников-соседей, где их «штабной»? И отправится к Алевтине, своей старой подруге. Отдать долг: двести рублей.

А минут через десять вернется.

Поезд тронется, они закроют вагон и чего-нибудь поедят. Сося леденец, Таня почувствовала, что проголодалась.

— Татьяна Васильевна!

Оборачиваясь на окрик, Таня Гурина точно знала: кто это?..

Миша, начальник поезда.

К девятому, отойдя от восьмого, шагал начальник 97-го: Миша. Высокий, в очках.

— Татьяна Васильевна!.. — говорил на ходу Миша.— К вам сейчас подойдут солдаты. Взвод солдат. У них билет и справка. Билет на офицера, а в справке написано: «И с ним девятнадцать». Знайте: я в курсе. Все двадцать — до Мурманска. Что у вас с кипятильником?

— Работает...

— Кроме кипятка им ничего и не нужно. Все свое: солдатский сухой паек. Даже газета своя. Вот — подарили... «Щит Родины». Я только что от коменданта... Закончите посадку — вагон перекройте. Через вас — никто, и к вам — никто. Ни из восьмого, ни из десятого. Так-то у вас все в порядке?

— Да, все в порядке.

— В случае чего, будите меня. Скажите моим: Нефедовой или Авраменко — я разрешил. А если все тихо, тогда — до Мурманска. Планерка — в штабном, по прибытии. Может, есть какие вопросы, Татьяна Васильевна?

— Вопросов нет. Все ясно.

— Тогда я в десятый... Предупрежу: пусть тоже перекроют вагон. Все, Татьяна Васильевна. Спокойного дежурства!

— Спасибо, Михаил Александрович!

И начальник 97-го отправился дальше, в хвост поезда.

Мужчину с капюшоном на голове Татьяна и не заметила бы... Но этот мужчина, появившийся в тамбуре соседнего поезда, сошел на перрон. Сошел мягко, как кошка...

Так, не держась за поручни: две вертикальные деревянные палки,— сходят немногие: нужен навык. Татьяна подумала: «Железнодорожник, наверно... Или приходится часто ездить в командировки. Сновать между Мурманском и Кандалакшей».

Вот что подумалось ей, когда мягко, как кошка, этот мужчина с поднятым капюшоном сходил по ступенькам.

Сошел...

Постоял, глядя куда-то в сторону...

Повернулся к Таньке.

Вынул нож.

И пошел на нее.

Подойдя вплотную, он уперся ножом ей в живот. Танька стояла, загипнотизированная происходящим. Нож все прорезал. Он так уперся, что даже через шинель она почувствовала его острый холодный кончик.

Она неловко попятилась...

И оказалась прижатой к вагону.

Другой рукой мужчина стиснул ей горло. И сильно ударил головой о вагон. Танька вскрикнула. В ушах зазвенело. Перед глазами вспыхнули огненные зигзаги. Она еле расслышала:

«Деньги... Иди, сука, в тамбур. Деньги за чай, за белье. Иди первой. Я за тобой. Кто в служебке?»

Танька в страхе молчала. И тогда он почти выкрикнул:

— Кто в служебке?

До Таньки — потрясенной и онемевшей Таньки — дошло: он нервничал. Очень нервничал.

Но перед ней стоял не распоясавшийся молокосос. Перед ней — взрослый и жесткий урка. Взяв нож, такой может ткнуть. В живот ли, в бок, в спину. Ткнул и пошел... Не оглядываясь.

А что она: «Татьяна Васильевна» — «Таня Гурина» — «Танька»?

Ехала-ехала...

Она зашатается. И упадет... Поползает перед тамбуром по затоптанному асфальту, поскулит в темноте... И застынет, уткнувшись в растекающуюся красную лужу.

Ехала-ехала...

Наплевать ей на деньги: за чай, за белье, за газеты. Но он давит на нож. Он нервничает и торопится. Глаза его побелели.

И неожиданно для себя, очнувшись от страха, преодолевая боль, она как-то нехорошо, как-то очень нехорошо... Улыбнулась ему.

Он опешил...

А она, сохраняя надетую на себя, искажившую ее облик, жутковатую вольчью улыбку, сказала ему:

— Пойдем, что ли?..

И сама подтолкнула его к подножке.

Он пошел...

Но силы оставили ее. Танька не знала, не понимала, как дальше вести себя? Что, что придумать?.. Что сделать?

Подняться в тамбур и броситься бегом по вагону?

Или открыть служебку, толкнуть его и захлопнуть за ним дверь?

А самой выскочить из вагона и закричать: «Милиция!..»

Перед глазами пронеслась зажатая поездами платформа: длинная, темная, полупустая...

Топ-топ, топ-топ, топ-топ.

Что это?..

Топ-топ, топ-топ.

Где-то затопали сапоги:

Топ-топ, топ-топ...

Где-то бежали, топали сапоги.

Ближе и громче.

Подбегали к ее вагону.

Все ближе, все громче.

Топ-топ!

Топ-топ!

Топ-топ!

Мужчина с ножом обернулся...

Топ — оглушающе громкий топ — оказался для него сверхъестественной силой. А кто перед сверхъестественной силой устоит?

Кто устоит перед сверхъестественной силой?

Никто. Ни один бандюга.

Он увидел солдат. Много солдат. Бегущих к нему. Топающих. Он вот, вот будет схвачен. Повален!

И, ничего больше не соображая, он кинулся под вагон.

Переполз, извиваясь змеей, через рельсы. Выполз на темную сторону. И, скорчившись, как с ножом в собственном брюхе, бросился прочь от поезда.

Танька, допустим, не видела этого. Но она двадцать лет отработала проводником. И похожая (для кого-то издали, для кого-то вблизи) на невыспавшуюся хмурую шлюху, она знала, что он точно так и поступит. Побежит, не разбирая дороги...

И сгинет во тьме.

В затянувшейся тьме Заполярья. Не освещаемого ни лучом прожектора, как вокзал — ни сполохами северного сияния.

Для прожектора накладно, для сполохов поздно. Зима кончилась. В Кандалакшу тоже входила весна,— холодная, ветреная. Но — весна.

Танька...

Из-за хлынувших, прямо-таки хлынувших слез Танька ничего больше не видела. Стояла у тамбура и ревела...

Он все прорезал. Он мог убить меня. Я лежала бы, пока за меня не запнулись. Кто это?..

Ой,— Танька!.. Проводница девятого, Гурина.

Что ты лежишь тут, Танька, вцепившись в асфальт, как обнимая кого-то?

Прощай?

Дым рассеялся?..

Топ-топ.

«Взво-од!..»

Топ-топ, топ-топ, топ-топ...

«Стой!»

Топ-топ.

К ней подошел старший,— запыхавшийся лейтенант. А, может быть, и не старший, и не лейтенант, и не запыхавшийся.

Протянул бумаги: билет и прикрепленную скрепкой к билету отпечатанную на машинке справку. Не глядя на подошедшего и стараясь, чтобы слезы не капали на протянутые бумаги, она сквозь сжатые зубы сумела произнести: «Заходите скорей».

Старший — нисколько не запыхавшийся лейтенант — повернулся к солдатам и что-то скомандовал. Что-то вроде того: «Марш в вагон! Но не все сразу, а по порядку».

И солдаты, один за другим, пошли мимо нее.

Она не видела их лиц, видела их шинели. Солдат за солдатом, шинель за шинелью. И на правом плече каждой шинели висел автомат.

Она подумала:

«Это и есть?.. Это и называется: автомат Калашникова?..»

Да, а на головах у шинелей были надеты пилотки. И все эти пилотки, шинели... Шинели, пилотки... Шли мимо нее. И молча залезали в ее вагон.

Девятый.

97-го.

На Мурманск.

«Татьяна!..» — раздалось из тамбура соседнего поезда. Ее с беспокойством, не видя из-за солдат, окликала Ольга. Наконец-то вернувшаяся!..

Все!

Можно было сниматься и ехать...

Подняв зареванное лицо — выше поезда, выше солдат и сопков — и выше приткнувшейся к ним: к солдатам и сопкам, никому не известной кроме сопков, солдат и проводников маленькой Кандалакши,— глядя в синюю темную пустоту над собой, Танька шепотом проговорила:

— Спасибо, Господи!..

Вагон дергался, пол дрожал; за голыми окнами, если всмотреться в темень... За черными окнами, если всмотреться, приставив ладони, проносились елочки и валуны. Перемещаясь на юг, оставляя север... Перемещаясь туда, где им будет тепло, где над ними будет высокое голубое небо.

Но, убегая на юг... Как убегая... Они оставались на месте.

«Родину не выбирают».

Гремела переходная площадка.

Гремела как днем.

Не обращая никакого внимания на тихую ночь.

В 9-ом (от тепловоза) на этот грохот тоже не обращали внимания. Никакого. Никто.

Кроме троих: дневального и проводников.

Дневальный стоял в нерабочем холодном тамбуре — за плотно закрытой дверью.

Проводники, две женщины, сидели друг против друга — в открытой, ярко освещенной служебке.

Во всем остальном вагоне свет был притушен. В некоторых секциях — выключен.

Мотающийся, дергающийся, покачивающийся вагон спал.

Но спал не так, как обычно: со вставаниями, рассеянными разговорами ни о чем. С принятием снотворного и запиванием его богатым на витамины соком из красивой бутылки, стоящей на столике...

Нет.

Оказавшись в плену казармы, не ведающей, каким будет завтрашний день, он спал, как казарма: отчасти самозабвенно, отчасти с остервенением, — торопясь выспаться.

Выспаться! — за эту короткую ночь перед приближающимися:

Мурманском и рассветом — рассветом и Мурманском.

Мурманском и рассветом — рассветом и Мурманском.

Мурманском и рассветом — рассветом и Мурманском...

А дневальный дневалил. Звали его Ваня. Или так: рядовой Инькин. Он стоял в тамбуре, прильнув к боковому окну — и, загородившись

рукавами шинели, смотрел на бегущие мимо — остающиеся на месте — елочки и валуны.

Черные в темноте елочки и гладкие светлые валуны.

Смена придет через час. Рядовой Инькин вернется в теплый вагон, отыщет освободившийся угол. И тоже заснет,— сразу же. А этот нескладный неубывающий час Инькин уж как-нибудь перебьется. Не зима. Не в тулупе на вышке. Подумаешь: тамбур!..

Поезд шел...

В девятом, полуобщем-полуплацкартном, спали.

Все, кроме троих.

Кроме:

проводников и дневального — дневального и проводников,

проводников и дневального — дневального и проводников...

* * *

Проводники — Ошурова Ольга Ивановна и Гурина Таня — дежурили в противоположном конце вагона.

Обе сидели в рабочей служебке. Ошурова — на диванчике возле столика. Гурина примостилась на лесенке.

Эти лесенки, раскладные подставки, существовали, чтобы проводникам было легче справляться с третьими полками: протирать пыль, пересчитывать одеяла... Но оказались такими неустойчивыми, особенно при движении, что ни один проводник ими не пользовался. Разве что как сиденьем... Не очень удобным, но зато разбиравшимся, собиравшимся...

На столике, рядом с толстой книжкой: «Расписание движения поездов» — всех поездов, по всему бывшему СССР — стояло у них вот что: две стопки. А у окна, у задернутой занавески,— бутылка.

Та, недопитая. Перенесенная Ольгой из «спаленки».

Выслушав о произошедшем во время ее отсутствия (в Кандалакше,— проеханной и больше не существующей), Ольга решила: прячущая глаза Татьяна должна выпить. И завалиться спать. Дежурить до Мурманска остается она, Ольга. Так-то лучше. Зачем нам, бабью, под стук-перестук колес пережевывать и пережевывать случающееся с нами?..

Пусть выпьет. Пусть расслабится, выговорится. И уснет. И все кандалакшское поотодвинется...

А в Мурманске будет не до Кандалакши. Там, по прибытии, одних бутылок насобирается мешка три. Надо сдать. Потом навести в вагоне

порядок — к приходу придирчивого мурманского санврача. Потом сбегать в город и запастись продовольствием — на обратный путь.

Да мало ли что... Мурманск конечная, но не конец дороги. Лишь половина...

Так что ложись, Таня, спать.

Но перед этим...

Эй, Татьяна Васильевна,— может, еще по стопочке? Наливай!

А дневальный-то наш дневалит...

Да, дневальный дневалит. В дальнем холодном тамбуре. Один-одинешенек. За плотно закрытой дверью. Как он там?..

Хватит, Танька, переживать.

Раскраснелась-то... Ну чего, глупая? В следующий раз в Кандалакше будем стоять вместе.

Решено. Будем стоять с молотком в кармане.

Танька, будь человеком,— сходи туда...

Ну, куда, куда? — В тамбур, к дневальному. Отнеси ему чаю, отнеси бутерброд. Все веселей пареньку. Скажи: мы знаем, что он там. Пусть не грустит. Он там, мы тут дневалим. Скажи ему: скоро начнет светать, скоро Мурманск...

* * *

Все приготовив: бутерброд с сыром и чай... Крепкий, горячий; не с двумя, как самим, а тремя кусочками сахара... Таня Гурина пошла в дальний тамбур.

Что было бы с ней, если бы не солдаты. Если бы не затопали они сапожищами!

И газетка у них как хорошо называется: «Щит Родины».

Надо бы почитать. А то все «Гудок» да «Гудок».

Она прошла знакомый до каждой пристойной и малопристойной мелочи спящий полутемный вагон. Открыла первую дверь — легкую, со стеклом.

Это курилка. Но окурки на полу не валялись. И воздух был чистым. Сейчас, ночью, здесь никого...

Перед второй дверью — зеленой, массивной — помедлила. Там солдат. Не напугать бы. А то еще выстрелит...

Она мягко нажала ручку. Вошла.

Солдата не было...

Не было никакого солдата.

Она огляделась...

Он стоял в углу тамбура, в самом углу.

Солдат?

Да, солдат. Конечно, солдат, но не такой, какого она выдумала... Не мужественный. Молоденький. Не «Щит Родины». Донельзя молоденький.

Вжавшись в угол, он стоял, выпрямив ноги.

И спал, стоя...

Вот что она увидела, когда вошла в тамбур, а войдя, огляделась. Она вошла сюда, как никогда не входила: стараясь как можно культурнее... Но тяжелая, неповоротливая дверь все же хлопнула.

Вздвигнув, солдатик проснулся. Вытарашил глаза. Схватил сползшую набекрень пилотку.

И строго...

Строго и хрипло спросил:

— Вы куда? Куда идете?..

Танька струхнула. Заволновалась. Почувствовала себя шпионкой. Залепетала:

— Я никуда не иду.

Он — так же строго и хрипло:

— А чай кому?

— Это вам, это от нас — вам. Это чай, а вот бутерброд: хлеб с сыром. У нас ничего больше нет.

Солдатик нахмурился:

— Я дневальный.

Он хотел сказать: «Мне нельзя».

Но Танька не поняла:

— Мы знаем, что вы дневальный! Вы тут, а мы там дневалим. Вы не грустите. Скоро начнет светать, скоро Мурманск...

— Ну и что?..— отозвался угрюмо солдатик.— Нам еще до острова на барже добираться.

Танька даже растерялась от его взрослой угрюмости. И тихо попросила:

— Возьмите, пожалуйста... Чай и бутерброд...

Солдатик отвел глаза:

— У меня денег нет.

— Какие деньги, что вы! В таких случаях знаете как говорится? Не в деньгах счастье.

Солдатик мялся.

— Ну возьмите, пожалуйста... Чай остынет, будет невкусно.

— А вас лейтенант не видел?

— Все спят. И ваш лейтенант спит. Это не он меня, это я его видела.

Солдатик хотел есть, и это она тоже видела. Но ничего не брал. Она не знала, что и делать, что еще и сказать?..

Он взглянул на нее, как проверил: не потешаются ли над ним? Нет, она искренно. От души. И сказал Таньке:

— Спасибо.

* * *

Час, тот час, который Инькин должен был отдневалить, наверно, прошел. Конечно, прошел... Надо бы сходить посмотреть на будильничек, стоящий на столике лейтенанта. Но рядовой Инькин не решался этого сделать,— при проводнице: они же разговаривают...

Проводница уйдет, и спустя хотя бы минут пять, он тоже зайдет в вагон. Разбудит следующего... Рядового Оханова.

Разбудит его и вернется в тамбур: подождет, пока Оханов обуется. Потом они поменяются, каждый займет свое новое место. Он — освободившийся угол Оханова; Оханов — освободившийся тамбур.

От нечего делать Оханов будет тренировать мускулы. Здесь, в тамбуре, поперек дверей, идут прутья. По этим крепким стальным прутьям Оханов и будет бить то ладонями, поставленными ребром, то сжатыми раставируванными кулаками.

А следующий... Следующий Серавин. Тоже ясно, чем он займется: достанет свой самодельный ножичек. И будет драить куском наждачной бумаги его рукоятку,— из оргстекла, выпрошенного у минометчиков или танкистов.

Все они: разведрота, минометчики и танкисты,— обитают в одной трехэтажной казарме. Первого батальона. Двести первого мотострелкового полка.

Мотострелкового — значит, пешего — значит, лыжного. Наученного, поднимаясь в атаку, кричать «ура».

Пройдет еще час. И Серавин разбудит... Кого разбудит Серавин? Он разыщет последнего из дневальных.

Последний — Пашка.

Избитый, но так и не сдавшийся.

Глядя на Пашку, и он, Инькин, не сдался. Держится...

Он, разговаривающий сейчас с проводницей — о том да о сем — он избит. Если бы он разделся... Нет, он не собирается раздеваться — он ни перед кем не разделется: стыдно, когда ты избит. Но если бы он разделся, она увидела бы его ссадины и синяки. На груди, на ногах, на ребрах.

«Но сдаться,— сказал Пашка,— это стать пылью на подоконнике».

Так они и живут, «молодые». Сдаться — это стать пылью.

Пусть бьют... Отрабатывают на них удары — «старика», звереющие к концу службы. Выход один: терпеть.

Оставшись в пустом тамбуре, Пашка походит, покурит и, сбросив с себя побои, забыв обо всем, будет сочинять стихотворение. Мысленно... А потом запишет его в тетрадь. Эту тетрадку он прячет в сумке с противогазом. Прячет от всех в роте.

О тетрадке в сумке с противогазом знает один человек. Он, Инькин. Некоторые Пашкины стихи обращены прямо к нему. Хорошие стихи. Пусть и нескладные...

Склонный к преувеличениям,
Ты сказал: «Мы забыты».
Я ответил, что это не так.
Я ответил, что, знаешь,
Ты склонен к преувеличениям.

Закрывшись в пустом тамбуре, Пашка походит, покурит... И напишет новые стихи. Ночь тянется, до утра далеко.

Для дневальных, изнывающих у своих тумбочек; для одиноких, как сирота, часовых, стынувших на вышках, расставленных вокруг охраняемого объекта,— время останавливается... Минутная стрелка с трудом пробирается от одной черточки до другой — через голое, заметенное снегом поле.

Пятнадцать минут, десять минут, пять минут — вечность. Нужно думать о чем-нибудь постороннем. Но не о дембеле. Ночью о дембеле лучше не думать: опасно... Кто-то из молодых, избитых и сдавшихся, может вдруг передернуть затвор и выстрелить.

Куда?..

В никуда.

Не в мишень, заиндеветшую от мороза. Не по лампочке над замком полкового артиллерийского склада.

В никуда...

В черное,— окружившее тебя и выжидающее чего-то. Выжидающее, когда тебе станет невмоготу. Подталкивающее тебя, нашептывающее тебе: выстрели. Выстрели в никуда.

А кто виноват в этом черном, окружающем тебя, когда ты один?

Виноват в этом черном сам рядовой.

«Рядовой Инькин».

Он думал до армии, что солдатская служба, что воинский долг,— это и вправду солдатская служба и воинский долг.

Это же он, призывник Инькин, оказался правильно сложенным. С чистой кожей. С нормальными слухом и зрением.

И, наконец, это же он не откупился от медкомиссии,— это не он откупился! У его матери никогда не было и не будет таких денег. У них не было денег даже на его проводы в армию.

Так он и стал «рядовым Инькиным». Принял присягу. Железная калитка захлопнулась. Что теперь делать?..

Вот что теперь делать: терпеть.

А, может, сбежать, дезертировать?

Дезертировать — это сделать себе еще хуже. Его поймают — через день, или два, или три. И отправят в дисбат.

А если он убежит и оттуда (а бегут и оттуда), его снова поймают — через день, или два, или три. И отправят в лагерь.

И вместо двух кандалакшских лет он вернется домой, в свой Устюг Великий в стороне от дорог... Лет через двадцать. Изможденным и старым. Больным. С гнилыми прокуренными зубами.

«По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга, судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах. На нем рубашонка худая со множеством разных заплат, шапочка на нем арестанта и серый тюремный халат. Бежал из тюрьмы темной ночью, в тюрьме он за правду страдал. Идти дальше нет уже мочи — пред ним расстилался Байкал. Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет. И грустную песню заводит, про Родину что-то поет. А ветер ему отвечает: «Напрасно, бродяга, спешишь»,— ведь бедное сердце не знает, что нету родных уж в живых. Бродяга Байкал переехал — навстречу родимая мать. «Ах, здравствуй, ах, здравствуй, родная, здоров ли отец мой и брат?» — «Отец твой давно уж в могиле, землей призасыпан лежит. А брат твой в далекой Сибири, давно кандалами гремит».

Ночью о дембеле, о конце этой пытки, названной «воинским долгом», лучше не думать.

Лучше думать о том, что «скоро начнет светать, скоро Мурманск»...

Но как хорошо, когда в этом доме для пыток, замаскированном под желтую трехэтажную облупленную казарму, встречается ЧЕЛОВЕК.

Встречается тебе и становится твоим другом.

А ко всему остальному он просто Пашка. Пашка Артемов.

То есть, он же и Пашка...

Пашка сказал, что название «Кандалакша» произошло от трех слов: кандалы, кандалак, ша.

Кандалак — это колонна закованных в кандалы и соединенных веревкой. Этап. Из-за веревки никто не мог ни сбежать, ни отстать от

колонны. А в том месте, на том километре, где потом вырастет Кандалакша, конвоиры останавливали этап. И кричали: «Кандалак-ша!» И веревка сматывалась.

Колонна двигалась дальше уже без веревки. Бежать некуда...

Потом это место, где конвоиры кричали: «Кандалак-ша!» и сматывали веревку, замельтешило на горизонте домиками, тюрьмой. лазаретом...

Потом появился поселок.

Потом городок.

Позднее порт и железнодорожный узел.

А потом все это место обросло, как лесами, ракетами. Говорили, что здесь, в Кандалакше, стояли отборные, самые выученные, самые дисциплинированные в/ч. Всех родов войск.

Может быть...

Отборные, выученные, дисциплинированные.

Дурдом военного, строго закрытого типа,— вот что такое теперь Кандалакша. Со всеми своими казармами, полигонами, танкодромами, дивизионами, стрельбищами, полками, штабами.

И газетой «Щит Родины».

* * *

Из Кандалакши 97-й (на Мурманск) вышел по расписанию. В Кандалакше было темно. До Мурманска оставалась ночь: 5 часов 30 минут. До Мурманска и рассвета...

Но если с Мурманском все было ясно: куда он денется, город Мурманск? То с рассветами за Полярным кругом (как теперь говорят даже в общих вагонах) «были проблемы».

Ни солдат, бдительно охраняющий что-то, кого-то неподалеку от Кандалакши (Лупча, Нива, Печенга, Алакурти); ни проводник пассажирского поезда, пересекающего Круг,— никто из них точно не знал: каким и когда будет рассвет? Да и будет ли?..

Так обстояли дела с медлительными серенькими рассветами для солдат, проходивших службу где-нибудь вокруг Кандалакши (Лупча, Нива, Печенга, Алакурти) и для проводников 97-го поезда, входящего в белый Полярный круг.

Четкий на карте — и не четкий, не белый, не аккуратный для слочек и валунов.

Для слочек, неприметных, как часовые...

Для часовых, неприметных, как елочки, и для проводников, обкатанных, как валуны...

И для валунов, обкатанных, как проводники.

* * *

И тут в тишине вагона, в расслабляющей тишине, раздался страшный треск. Ольга Ивановна вздрогнула всем телом. Книжка выпала из рук...

Повернув голову, неподвижно глядя в проем открытой настельки служебки, проводница с напряжением ожидала. Сейчас этот треск, этот стук повторится... И она хоть поймет, определит по звуку: что это?..

* * *

За переборкой, сидя в постели, точно так же прислушивалась — не зная, к чему — перепуганная Татьяна.

Ольга думала, что она спит.

Она не спала.

Из-за Вани...

Невозможно было заснуть, когда перед глазами стояло его лицо. Отменившее, перечеркнувшее сон.

Отменившее, перечеркнувшее жизнь. Сделав ее не нужной больше. Зачем?..

Никого и ничего не стесняясь, Танька разглядывала его лицо, любуясь им.

И гордясь...

Каким может быть прекрасным человеческое лицо!

* * *

Вдруг раздался страшный, неистовый стук. Танька вздрогнула. Рывком поднялась с подушки. Что это?..

Стук был коротким.

Коротким и незнакомым.

Она ничего не успела понять. И с напряжением вслушивалась...

Стук не повторялся.

Тишина...

Ольгу Ивановну, сидящую в служебке за переборкой, эта возобновившаяся тишина — после непривычного стука — встревожила не меньше, чем стук.

Какая подозрительная тишина!..

Что-то случилось.

В дальнем конце вагона что-то произошло.

Нужно идти.

Вспомнив о книжке, Ошурова нагнулась за ней.

«Держи пять».

И заметила рукоятку молотка, засунутого под диванчик. Поднимая книжку, прихватила и молоток.

На душе было не по себе. Тревожно...

Появились неясные опасения.

Но зачем молоток? Молоток-то зачем?..

Отложила его. Положила на лесенку, на которой сидела Татьяна. (Лесенка так и осталась небранной.)

Книжку положила ступенькой ниже.

«Все. Иди!..»

И вышла в полутемный вагон.

Танька, сидя в постели, слышала: Ольга вышла из служебки в вагон.

Прошла мимо «спаленки»...

Мимо первых трех отделений...

Шаги постепенно затихли.

Вагон, как-никак, двадцать метров в длину.

Не слыша больше Ольгиных шагов, Танька могла бы точно сказать, где сейчас идет Ольга? Мимо какого из отделений...

Когда она остановится, если остановится,— тоже станет понятно. И по ее разговорам с кем-то (или каким-нибудь действиям) Танька догадается о том, что произошло в их 9-ом. Что вдруг случилось?..

Но все было тихо.

Ольга идет, не останавливаясь...

Сейчас она проходит — должна проходить — мимо полок с номерами: 27, 28, 29, 30...

Теперь: 31, 32, 33, 34.

И вот последнее отделение...

Но Ольга и тут не остановилась.

И тогда сейчас должна слабенько звякнуть дверь,— со стеклом и с разболтанной ручкой.

Звякнула...

Здесь «курилка».

И туалет — слева.

Пустая «курилка» и пустой туалет.

Если бы туалет был закрыт — «ЗАНЯТО» — Ольга постучала бы. Потребовала бы открыть его. Или сама открыла ключом.

Но все было тихо...

По-прежнему тихо.

Дальше?..

А что дальше? Это конец вагона. Дальше глухая зеленая дверь нерабочего тамбура.

Здесь Ваня.

Танька нащупала штору, отдернула ее.

Быстро надела юбку, рубашку. (Форменную черную юбку и белую рубашку с отложным воротником.) Чулки и берет отбросила. Галстучек пристегивать тоже не стала...

Толкнула дверь «спаленки».

Заперто.

Ольга, как принято, закрыла ее на ключ.

(А свои ключи остались в кармане пиджака. А пиджак остался в служебке...)

Скатав постель, Танька присела на край скамьи. Глотнула холодного чая. Закурила, глядя в окно...

Шел снег.

Хлопья снега летели навстречу поезду.

Как всегда...

Если бы поезд стоял, хлопья снега летели бы косо.

Падали,— не летели... Падали бы, не спеша. Никуда не спеша...

Сейчас они летели поперек стекла, четко линуя его; летели стремительно, как зимой...

Вспомнилась песенка, услышанная на какой-то станции: «Скоро весна, скоро любовь».

Тут (как всегда, как положено) — все было наоборот. Снова зима, снова метель.

И ночь.

Все еще ночь...

Идя по вагону, Ольга Ивановна оглядывала каждую секцию.

И ничего...

Ничего такого, что ее, дежурную, остановило бы. Это озадачило ее. Неужели она заснула, читая книжку?.. И тут же проснулась, как от толчка. Такое бывает при пробуждении.

И вот идет по тихому, полутемному, пошатывающемуся вагону... А вагон как спал, так и спит.

Вагон, действительно, спал, но все другое (будто бы и она при-заснула) — вздор. Она читала...

Дочитав последнюю страницу, она продолжала думать о главных героях. Представила их едущими в своем, 9-ом, вагоне...

Треск, или стук, раздался позднее. Ужасный треск. Такой, что у нее вывалилась из рук книжка.

Дежурящая проводница, она идет, неторопливо идет по проходу, всматриваясь в каждое отделение.

И ничего...

Конец вагона.

Подойдя к нерабочему тамбуру с его массивной зеленой дверью, Ольга Ивановна в нерешительности остановилась.

Может, здесь грохнуло?..

Набитый людьми вагон, оставшийся за спиной, ничего не слышал. Спит. И не услышит, если чего... А она, дежурящая, стоит и не решается войти в тамбур...

Нажав холодную ручку, она медленно отвела дверь. И остановилась, как вкопанная.

Она увидела валяющийся на полу автомат...

Увидела ручеек крови, протянувшийся через тамбур...

И открытые, не двигающиеся глаза на неестественно белом лице...

Солдат смотрел на Ошурову, и ее охватил ужас. Она похолодела... Не было сил ни войти в тамбур, ни захлопнуть перед собой дверь. Ольга Ивановна не могла оторваться от карих, удивленно открытых глаз.

Полулежащий-полусидящий солдат был мертв.

(Когда Ошуровой перевалило за пятьдесят; когда она все чаще и чаще слышала: та умерла, этот умер,— она стала подумывать и о себе. О своей смерти.

Случайные, отрывочные раздумья о собственной смерти привели ее к грустному выводу: умереть — это незаметно исчезнуть.

Она прожила жизнь, будучи никем. Нулем. А когда тот или этот никто, тот или этот ноль исчезает, оставшиеся нули забывают о нем.

И, выходит, что дело только в тебе. Готова ли?

И Ольга решила: готова, готова...)

Но полулежащий-полусидящий, сам застреливший себя солдатик... Восемнадцать лет!..

Кто его родители, где они? Что они чувствуют сейчас, в эти минуты?

А если (как все по ночам) спят,— что им снится?

Другим — всякая ахинея. А им-то что снится в ночь, последнюю для их сына?

ЗАКРОЙ ЕМУ ГЛАЗА.

Услышала она у себя в голове.

Голос был усталым и тихим.

Чей это голос? Матери? Матери застрелившегося солдата?..

ЗАКРОЙ ЕМУ ГЛАЗА.

И УХОДИ...

Ошурова как очнулась. Перешагнув кровь, вошла в тамбур. (Дверь захлопнулась). Проводница осталась один на один с мертвым.

И парнишка (так показалось ей) отвел от нее глаза. Теперь он смотрел прямо перед собой. В противоположный конец тамбура...

Снаряжение, аммуниция — «вещи» — солдатака: сумка с противогазом, еще одна небольшая сумка, ремень с тусклой бляхой, лопатка в чехле и вещмешок,— все было сложено в угол.

«Сдано Родине».

Поверх мешка лежала записка:

Ребята, отомстите за меня.

Ольга Ивановна не прикоснулась к записке.

Это не ей...

Родине.

Проводница положила на лоб солдата ладонь и мягко провела ее вниз. Веки сомкнулись. Ощувив кожей ладони, что веки сомкнулись, Ольга Ивановна мысленно произнесла за покойного:

«В РУКИ ТВОИ, ГОСПОДИ, ПРЕДАЮ ДУХ МОЙ»...

Шинель на груди парнишки и гимнастерка были расстегнуты. Он выстрелил в сердце.

Но Ольга Ивановна слышала не один выстрел... Стук прогремел треском. Дробью.

Что это значит?..

Ошурова низко наклонилась над солдатиком.

И поняла...

Первая пуля — в сердце.

Но, вываливаясь из мертвых рук, автомат продолжал стрелять.

Вторая пуля — чуть выше сердца.

Третья — в плечо. Оно было в крови и разодрано.

Ольга Ивановна выпрямилась.

Она все увидела. Все внимательно рассмотрела. Все выяснила,— для себя...

И почувствовала, что ей необходимо оказаться в служебке. Немедленно. В груди все сжалось, отяжелело... А там, в дорожной аптечке: валидол, корвалол...

Перекрестив солдата — ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА — она пошла... Она уже выходила из тамбура... Но что-то заставило оглянуться.

Она оглянулась...

Минуту назад — с удивленно открытыми глазами — лицо парнишки выглядело застывшим. Как маска. Теперь оно преобразилось. Оно выглядело живым и было полно отчаяния, крика о помощи.

Крепкая на слезы Ошурова не выдержала. Громко всхлипнув, зажала рот. И молча, задавленно разрыдалась...

Она чувствовала себя виноватой. Ей надо было проведать этого паренька, поговорить с ним. Принести чаю... А она отложила все на потом. Зачиталась книжкой.

ПРОСТИ МЕНЯ.

* * *

Танька, запертая Ольгой, проклинала невозвращающуюся, все еще не вернувшуюся напарницу. Проклинала ночную метель, не похожую на весеннюю...

Хлопья снега летели навстречу поезду,— как всегда, как положено хлопьям снега. Летели стремительно — поперек — отчетливо линуя стекло черными полосами.

«Невозвращенка»,— зло думала Татьяна об Ольге Ивановне.

И вот послышались чьи-то шаги,— медленные, неуверенные. Стариковские...

Ольга?

Нет.

У Ольги другой шаг.

А кто, если не Ольга?

Кто, кто... Пассажир! Кто-то из пассажиров...

Проснулся, протер глаза и пошел, шаркая, за кипятком.

Постоял у «спаленки».

Прошел дальше...

И вошел... в служебку.

(Служебка открыта настежь. Там никого. Где хоть Ольга пропащая!..)

Войдя в служебку, человек осмотрелся. Сначала, наверное, осмотрелся.

Электрощит, лесенка, пустые стаканы...

И тяжело опустился на их потертый диванчик,— между столиком и перегородкой.

Танька затихла...

Сидя на нижней скамье, подняв подбородок к перегородке, слушала...

И услышала вой. Негромкий, протяжный...

Человек, сидевший в служебке, выл.

И это была Ольга.

Сидела и выла.

Ольга выла!..

Танька растерялась... У нее затряслись руки. Затряслись губы.

Она бросилась к перегородке, забила в нее кулаками.

— Ольга!..

За перегородкой стихло. Скрипнул диванчик...

Ольга поднялась, вышла из служебки в малый коридор. Помедлив, достала из кармана ключ. Вставила в замочную скважину «спаленки».

Открыла дверь...

Танька увидела Ольгу в слабом свете малого коридора. Увидела и содрогнулась... В дверях стояла не похожая на себя Ольга. Состарившаяся. Страшная...

Ольга зашла в «спаленку». Села рядом на голую, с убранный постелью скамью.

И теперь Танька увидела Ошурову сбоку. Увидела ее почти не знакомое лицо: угрюмое, отчужденное. Как спрятавшееся, чтобы на него не смотрели.

— Таня,— сказала Ольга.— Случилось несчастье. В тамбуре застрелился солдат.

Танька рванулась, дико вскрикнула:

— Он!

— Не он,— устало и равнодушно ответила Ольга.— Другой. Они менялись...

Помолчав, Ольга тихо сказала:

— Иди, Таня, в восьмой вагон. Достучись до них. Передай: пусть бригадир подаст телеграмму в Мурманск.

* * *

Разбудив лейтенанта и выведя его из темного отделения — в более светлый проход, Ольга Ивановна увидела, что разбуженному надо бы прежде всего умыться.

Лейтенанту было всего двадцать два — двадцать три. Звали его Анатолием Алексеевичем. («Зовите меня Анатолий».)

Ольга Ивановна провела его к служебному туалету — в рабочем конце вагона. Показала где мыло, полотенце...

Лейтенант появился в служебке минут через пятнадцать, — вытирая мокрые руки и лицо носовым платком. (Прослушал о мыле и полотенце.)

Ольга показала на лесенку:

— Садитесь, Анатолий.

Еще ничего не зная, но ничего не спрашивая, лейтенант послушно сел.

Быстро взглянув на Ошурову...

Из серых глаз выглянули недоумение, беспокойство.

Ольга Ивановна все рассказала.

Слушая, лейтенант краснел, краснел, краснел — и неожиданно побледнел. И снова стал краснеть, краснеть, краснеть... И сразу же побледнел.

Ольге Ивановне подумалось что-то об армии... О солдатах, офицерах, автоматах Калашникова... Подумалось с жалостью и горечью.

«Разогнать бы вас всех по домам...»

Отгнув рукав, она посмотрела на часы. Времени было 5.30. Пора действовать.

— Анатолий... Солдат вы пока не будите. Вернется моя напарница, и мы вдвоем должны сделать вот что...

Все обдумав, Ольга перечислила то, что нужно сделать.

Глядя ей (как школьник учительнице) в лицо, лейтенант слушал... Слушая, повторял: «Правильно. Правильно. Правильно...»

Вдруг его передернуло.

Он схватился за голову, сжал ее... И с ужасом произнес: «Как это: застрелился?.. Почему?!»

Убрав руки, лейтенант пристально — с недоверием и неприязнью —

посмотрел Ольге Ивановне в глаза. Привыкший в училище к жестоким розыгрышам, он ждал, он надеялся, что эта старая некрасивая проводница, усадившая его на смешную лесенку, сейчас тоже засмеется, обнажив вставные неприятные зубы. И скажет: «Лейтенант, я пошутила».

Но перед ним сидела старуха. (А не улыбающийся однокурсник в курсантских погонах.) Строгая старуха — в строгом черном служебном кителе.

И, сжав губы, старуха молчала.

И, значит, все, что произошло,— произошло.

А то, что происходило, то и происходило, а не снилось в дурном сне. Вокруг все было невыдуманным: электрощит, пустые стаканы Жесткая деревянная лесенка... И старуха в черном.

Глядя на лейтенанта, Ольга Ивановна поняла: когда она говорила ему о том, что им необходимо сделать, он слушал ее, но ничего не слышал.

— Анатолий,— сказала она. И дотронулась до его плеча...

— Ты офицер. Командир. Надо действовать. Но солдат пока не буди. Мы троим: я, ты и моя напарница должны сделать...

И снова перечислила то, что нужно было им сделать. Она продумала это раньше. Сделать нужно было вот что...

Перенести покойного в пустую секцию, разделяющую вагон на солдат и гражданских.

Убрать из тамбура автомат и сложенные в углу вещи.

Вымыть и насухо вытереть пол.

(Придет следователь, если придет,— пусть разбирается с запиской, а не с лужей крови.)

Дальше:

раскатать матрас с наматрасником. Взять пакет с чистым бельем, расстелить одну простынь, подложить подушку с надетой наволочкой.

И снова перенести покойного... Накрыв его другой простынью.

И всем уйти.

Тамбур закрыть на ключ.

В Мурманске на вокзале будет ждать вызванная начальником поезда машина,— из военного госпиталя или железнодорожной больницы. Машина с санитарями и носилками.

Лейтенант слушал... И на этот раз: слышал.

О записке Ольга Ивановна не сказала. Она хотела, чтобы лейтенант сам увидел записку... И сам прочитал ее. Командир взвода — он. С ним было 19 солдат. Почему на 1 солдата стало меньше?

В Кандалакше идут бои?

Затремела переходная площадка... Но хлопнула дверь, и шум сник.

Вернулась Татьяна.

— Я вызвала Мишу.

— Кто он? — спросил, подняв голову, лейтенант.

— Бригадир. Начальник поезда.

* * *

Ночь продолжалась... Темная полярная ночь.

И могло показаться, что в жизни двух проводниц остановилось что-то.

В их нестандартной работе, в неустроенной жизни (но все-таки жизни, пусть неустроенной и нестандартной) что-то шло, шло — ехало, ехало... И вот это что-то остановилось. Как вспыхнула впереди точка.

Красная.

Так на безлюдных разъездах останавливаются поезда.

И стоят...

Стоят и стоят, ожидая «зеленый». Но горит «красный», и кругом тишина.

Тишина и ночь.

И вырисовывающийся в темноте неподвижный состав.

Спящие внутри него пассажиры, обманутые, убаюканные движением, продолжают внутренне ехать; спать, но и ехать. Это же так удобно: ехать и спать, спать и ехать куда-то...

И никто не подозревает, что поезд — стоит.

Вырисовываясь в темноте сцепкой неподвижных, как омертвевших, вагонов.

Что-то где-то случилось,— да? Что-то произошло,— да?

Что там у вас случилось? Что там у вас произошло, что?..

Ничего.

Разве что прекратилось чье-то дыхание...

И стрелки часов, как принято в моргах, остановились на цифре 12.

Тиканья не слышно.

Жизнь кончилась.

А ночь продолжалась; мутная, метельная ночь.

И в маленьком 9-ом вагоне маленького 97-го поезда — огибающего огромную побелевшую сопку — дежурили те же: Ошурова О. И. и Гурина Т.

Второй раз за обычную смену, второй раз за эту длинную ночь, они поменялись местами.

Гурина — как вечером, перед Кандалакшей,— снова сидела в ярко освещенной служебке. Сидела нахолившаяся, не склонная к разговорам: никакими, ни с кем.

Ошурова, чувствуя себя полубольной, перебралась в темную «спаленку». Тоже, как служебка, открытую настежь.

Перейдя в «спаленку», Ольга не стала ни раздеваться, ни разбирать свернутую Танькой постель. До Мурманска оставался час. Пора включать свет и будить пассажиров.

Но как это сделать? Как это сделаешь?.. На это нужны силы.

Ни Танька, ни Ольга Ивановна не смогли бы сейчас бодро пройти по вагону, выкрикивая: «Мурманск!.. Подъезжаем к Мурманску».

И вагон спал.

Все еще спал...

И ночь — метельная, неудобная — продолжалась...

Татьяной (в рабочей служебке) и Ольгой Ивановной (в «спаленке») овладело схожее ощущение. Невнятное, беспокойное... Обе женщины: одна помоложе, другая постарше — давно знающие друг друга, сработавшиеся — испытывали одно и то же предчувствие: не будет.

Ни Мурманска, ни рассвета...

Сидя в разных служебках, обе они: и Татьяна, и Ольга Ивановна (что за ними раньше вообще-то не наблюдалось) молча, сосредоточенно вслушивались в стук колес.

Тяжелых. Давящих.

Таньке снова подумалось: «Чугунных... Совершенно обесчеловеченных».

А колеса в ответ — и это, кажется, было тоже впервые — отвечали им. Отвечали с нескрываемой, пугающей радостью:

«Не будет!»

Ни Мурманска, ни рассвета! Ни Мурманска, ни рассвета!

Ни рассвета, ни Мурманска,
ни рассвета, ни Мурманска,
ни рассвета, ни Мурманска...

* * *

Приходил бригадир, то есть начальник поезда, то есть Миша.

В присутствии Татьяны, Ольги Ивановны и лейтенанта Анатолия начальник 97-го составил текст телеграммы. И вернулся к себе: передать ее в Мурманск.

А лейтенант Анатолий разбудил кого-то...

Одного из солдат. Из всех — одного.

Пройдя мимо «спаленки» и служебки, лейтенант и поднятый им солдат скрылись в тамбуре. Там, где котел, топка...

Когда лейтенант с разбуженным им солдатом проходили мимо «спаленки» и служебки, Татьяна, занятая испортившимся фонарем, не заметила проходивших. А Ольга Ивановна видела их, но мельком. Видела, что прошли двое: лейтенант и солдат. И Татьяне ничего не сказала об этом: зачем?.. Пусть занимается фонарем. Неприятно, когда горит и горит красный...

Лейтенант и солдат пробыли в тамбуре минут двадцать. Никто не слышал, о чем они разговаривали. Толстая зеленая дверь, как сказал кто-то из молодых проводников, была «пуленепробиваемой».

И вот она снова хлопнула...

«Это те, двое...»

Не поднимаясь, Ольга Ивановна выглянула в коридор.

«Да, они...»

Анатолий и разбуженный им солдат, поговорив о чем-то, вышли из тамбура. Остановились перед служебкой...

А в служебке — на диванчике между столиком и перегородкой — сидела Татьяна. Она подняла глаза... И ей захотелось крикнуть от радости. В дверях стоял Ваня. Просиявшая Танька смотрела на Ваню...

Но где-то сзади или сбоку от Вани стоял лейтенант.

И оба они были нахмурены.

Лицо Вани было даже серым.

Он смотрел на «Татьяну Васильевну» как на чужую...

Но Танька поднялась и шагнула к Ване.

Протянула невольно руки...

Опомнясь, опустила их.

Если честно, ей хотелось прижать Ваню к себе. (Как родного.) Прижать крепко, крепко. Ей хотелось, чтобы Ваня понял; услышал от нее то, что она не может сказать при посторонних.

Посмотри на меня, Ваня...

Ты помнишь? Ты не забыл?.. Мы: ты и я — разговаривали в том тамбуре. В том далеком от нас, от живых, тамбуре,— холодном и страшном.

Вот что она сказала бы Ване, если бы он оказался один.

Но за перегородкой, в «спаленке», сидела Ольга Ивановна. А где-то сзади или сбоку от Вани стоял лейтенант.

Стоял и молчал.

И Ваня стоял и молчал.

Лейтенант сказал что-то... Что он сказал?..

Лейтенант сказал:

— Татьяна Васильевна, этот солдат — друг погибшего. Откройте ему дальний тамбур. Я разрешил рядовому Инькину проститься с другом.

Татьяна кивнула. (Да, открою.)

И лейтенант ушел.

«Рядовой Инькин», не поднимая глаз, продолжал стоять у служебки.

Ольга Ивановна слышала все это... Но выходить в коридор посчитала ненужным.

Лейтенант Анатолий вернулся к солдатам. Ушли и Татьяна с «рядовым Инькиным».

Посмотрев в окно «спаленки», Ольга Ивановна обратила внимание, что оно чистое. Метель кончилась... Налетела внезапно и кончилась, как налетела: внезапно.

И, как обычно для этих мест и на этот час,— за окном посветлело. В «спаленке» уже проглядывались стены, скамья... Столик, поднятый на кронштейнах...

Начинающийся рассвет входил в начинающуюся жизнь, облагородив ее маленькие подробности. Сделав их слегка призрачными...

Но жизнь — как набросок, жизнь в общих чертах, без подробностей — тоже, по сути, рассвет. Грустный и призрачный. Как жизнь... Как железная северная дорога...

«Скоро Мурманск,— подумала Ольга Ивановна.— Будет, не будет... Тот, кто знает, что будет и что не будет, молчит, а не брякает колесами...»

* * *

Промелькнула вернувшаяся Татьяна. (Белая рубашка, черная юбка.)

Увидев, что Ольга не спит, Татьяна зашла в «спаленку». Ольга сидела за столиком, поднятым на кронштейнах. На столике — бутылка, снова перенесенная сюда из служебки. Еще не допитая... При бутылке — леденец «Барбарис» и граненый стаканчик.

Татьяна молча присела...

Не поворачивая головы, Ольга спросила:

— Простился рядовой Инькин с другом?

— Да,— услышала она суховатый ответ.— «Рядовой Инькин» — это Ваня. А имя того солдата: Артемов Паша. Ваня, как увидел, что Паша закрыт простынью,— заплакал. Отогнул простынь, взял его руку. И пожал... А другой рукой, кулаком, вытер слезы и сказал: «Я отомщу за тебя, Пашка».

Ольга молчала... Татьяна, переведя дыхание, снова заговорила:

— Ваня еще по дороге в тамбур достал из Пашкиного противогаза — из сумки с противогазом — тетрадку... Он один знал, что у Паши в сумке лежит тетрадка. Вот эта...

В руках у Татьяны была «общая» тетрадь с мягкими темно-зелеными корочками.

— Ваня сказал, чтобы я сохранила ее. А если и с ним что-то случится,— переправила бы тетрадь родителям Паши.

— Откуда родом Паша?

— Из Череповца Вологодской области. В тетрадку Паша записывал свои стихотворения. Над ним издевались, что он пишет стихи. Даже пытали...

— Да кто?!

— У них в роте подобралась компания уголовников. Отпетые урки... Они били Пашу. Не давали ему спать. Били обоих: и Ваню, и Пашу. Пашу — за стихи, Ваню — за то, что дружит с Пашей. Паша не выдержал...

— Таня... Я это не в силах слышать.— Ольга вцепилась в скамью.— Чертова Кандалакша!

Постаревшая за ночь, Ошурова тихо предложила:

— Давай, Таня, помянем Пашу.

Налила Татьяне в граненый стаканчик.

Прошептав что-то, Татьяна выпила. Ольга подала ей конфетку. Налила себе. Перекрестилась.

— Господи, прости нас за Пашу. За раба Твоего, Владыко,— за рядового Пашу...

Ольга выпила.

Женщины посидели, помолчали...

Ошурова посмотрела на часы:

— Что же, Таня... Мы на работе. Включай свет. Буди народ.

* * *

Будить никого не пришлось.

Из дальней, солдатской, половины вагона послышались выкрики.

Проводницы переглянулись...

Драка?..

Еще через минуту обеим стало понятно: драка!

Злобная. Яростная. С возгласами. Сопеньем, возней. Хлопаньем

полок. Ударами тел о сотрясающиеся переборки. Стуком сапог. И отборным матом...

Танька сорвалась с места, бросилась в служебку, к электрощиту. Включила свет. Весь свет!.. Пробегая обратно, бросила Ольге:

— Я туда...

Ошурова, растерянная, обмякшая после своей, раньше выпитой, и допитой с Татьяной водки, не готовая ни к каким резким действиям, — вышла из «спаленки»...

В конце вагона (только что полутемного, теперь ярко освещенного) столпились солдаты.

И все дрались!..

Много дергавшихся (рывком сходящихся — рывком расходившихся) спин. Все — в шинелях.

И вдруг из середины толпы раздался отчаянный вопль Татьяны:

— Не бейте его! Не бейте его!

Ольга Ивановна, как подхлестнутая, бросилась по проходу.

А справа и слева просыпавшиеся пассажиры поворачивали к ней испуганные, бледные ото сна лица: «Что случилось? Скажите, что случилось-то?..»

Ольга Ивановна, глядя вперед, на дергавшиеся шинели, — на резко белешую среди них рубашку Татьяны, — бормотала: «Мурманск... Просыпайтесь, вставайте, сдавайте белье. Мурманск...»

Драка не прекращалась. Солдаты лупили друг друга.

Лейтенант тоже кого-то лупил.

Гражданские, спавшие на вторых полках, стали спрыгивать на пол. Хватали одежду. Искали засунутую куда-то обувь.

Кому-то приснилось: на поезд напали чеченцы. Все загалдели.

Галдящие, полуодетые, не знающие, что происходит, они полностью загородили проход.

Ошурова остановилась... Пробриться в конец вагона не представлялось возможным.

Но снова раздался плачущий, умоляющий голос Татьяны:

— Не бейте... Не бейте его!

Ошурова рванулась... И протиснулась сквозь всех.

Растолкала солдат.

Увидела: трое пинали сапогами лежащего на полу. Лежащий уткнулся в пол, закрылся руками.

Какой-то солдат пинал его по голове. Другой пинал под живот. Третий — между сжатых, скрещенных ног.

Ольга оттолкнула Татьяну. Перешагнула лежащего. Побледнев, растопырила руки...

Татьяна, рискуя получить по затылку, присела на корточки. Перевернула лежащего лицом вверх. И взревела, закричала, заголосила на весь вагон:

— Ванечка! Ва-а-нечка!..

Лейтенант — удерживаемый солдатом с тремя полосками на погонах (крупным и, видимо, сильным солдатом) вырвался от него.

Развернул к себе за шиворот одного из пинавших. И тут же сбил его с ног.

Но другой пинавший — со всего размаха — ударил лейтенанта в лоб. Лейтенант опрокинулся на скамью.

На него навалился тот же крупный солдат — с тремя полосками на погонах.

Лейтенант отшвырнул его ногой. Вскочил на скамью. И в бешенстве заорал:

— Сержант! Вы давали присягу. Встать, сержант! Руки по швам!

Поднимаясь, сержант нехорошо улыбался... Поднявшись, он громко, чтобы слышали все, зло и мстительно произнес то, что заставило лейтенанта прыгнуть со скамьи. Ростом он был ниже сержанта. Краснея, краснея, краснея,— он стоял перед крупным и, видимо, очень сильным сержантом... Внезапно он побледнел. Зрачки расширились. Серые глаза стали черными.

Снизу вверх он ударил сержанта под подбородок.

Чох!..

Удар был таким, что сержант — подпрыгнул. Отлетел, задрал ноги, как акробат...

Не обращая больше внимания на сержанта, лейтенант пошел, пошел на солдата, ударившего его в лоб. Солдат струсил. Попятился, попятился... Лейтенант плюнул и отвернулся.

Дрожа от возбуждения, он обратился к Ольге. Обратился, стараясь изо всех сил выглядеть спокойным.

— Ольга Ивановна, выполните мою просьбу... Освободите маленькую служебку. Под гауптвахту.

Ольга Ивановна и Татьяна не расслышали, не поняли последнего слова. Но поняли (услышали в голосе) — лейтенанту необходима помощь.

Ошурова твердо ответила:

— Да, Анатолий.

И потянула Татьяну. Потянула, чтобы уйти отсюда обеим.

Но на плече Татьяны, как обнимая ее, лежала окровавленная рука Вани.

(Он порезал ладонь, схватившись за приставленный к нему автоматный штык.)

Татьяна пошла за Ольгой и повела Ваню.

А он опустил руку...

И даже чуть оттолкнул Татьяну, стесняясь солдат.

И тех, которые били его, и тех, которые защищали.

Он опустил руку И Ольга Ивановна увидела на белой рубашке Татьяны отпечаток руки. Красная ладонь и пять красных пальцев.

«Это тебе на память о Кандалакше, Танька». — подумала Ольга Ивановна. И вспомнила название книжки, которую читала ночью:

«Держи пять».

Но промолчала. И еще сильнее потянула Татьяну.

—Пойдем, Таня. Пойдем!..

Татьяна и Ольга Ивановна, вернувшись к себе, занялись «спаленкой». Вынесли оттуда все!..

Мелкие вещи перенесли в служебку.

Два мешка: с чистым постельным бельем (на обратный путь) и с грязным (израсходованным) уложили в секции, первой от начала вагона.

«Спаленка» опустела...

Ольга Ивановна подала знак Анатолию:

«Можно»...

А что можно,— ни она, ни Татьяна толком не представляли.

Но их попросил Анатолий. Командир солдат. И они выполнили его просьбу.

Он помог им тихой и черной ночью. Теперь они помогают в чем-то ему...

Интересно: на сколько же он старше своих солдат?..

Года на три. Не больше...

Детский сад,— одичавший и озверевший. К тому же голодный. И еще с автоматами...

Вот что такое вся эта «Кандалакша».

Ошурова внимательно осмотрела пустую, протертую влажной тряпкой «спаленку» Закрыла ее. Передумав, открыла настежь: пусть проветривается.

Надела пиджак. Пошла по вагону в его конец...

Но остановилась, увидев обращенное к ним, к началу вагона, потное, напряженное, ждущее лицо Анатолия.

Махнула ему:
— Идите. Можно...

* * *

А из вагона все это время доносился ровный привычный шум. Смазанный. Не отвлекавший — не привлекавший.

Ровный привычный шум...

Но вот сквозь него прорезался звонкий молодой голос:

«Граждане, освободите проход!

Граждане!..

Граждане, освободите проход! Дайте пройти!..»

Татьяна и Ольга Ивановна — не сговариваясь — Татьяна (из превращенного в медпункт туалета), Ольга Ивановна (из рабочей служебки) выглянули в коридор...

По освобождающемуся проходу — медленно, с остановками — двигалась колонна солдат. Они шли один за другим — в затылок друг другу.

По мере их продвижения шум в вагоне стихал. За несколько отделений до малого, служебного, коридора стих совсем.

Впереди шел тот, который кричал: «Граждане!»

Под глазом — синяк.

Полуоторванный погон свешивается вдоль рукава...

Дойдя до малого коридора с тремя отсеками («спаленкой», служебкой и туалетом) впереди идущий — неожиданно отвернул в сторону.

И проводницы увидели Ваню. Но «Ваня» сейчас к нему никак не подходило. «Рядовой Инькин».

Лицо его было суровым...

Левая рука замотана носовым платком. (Тем платком, которым ночью вытирался лейтенант Анатолий). Края платка соединены изолентой.

На правом плече Вани висел автомат.

(Не «Ваня». Рядовой Инькин).

Рядовой Инькин шел прямо на Ольгу Ивановну и выглядывающую из-за ее спины Татьяну. (Они подумали, что весь этот строй идет в тамбур.) И, освобождая тесный коридор, вынуждены были снова спрятаться, отступить. Ольга Ивановна — в рабочую служебку, Татьяна — в туалет.

Но у тамбурной двери — толстой, зеленой, «пуленепробиваемой» — рядовой Инькин остановился.

Повернулся кругом.

Снял с плеча автомат. Взял его наперевес.

Лейтенант Анатолий (закрывавший колонну) командовал:

— Стой!

Четверо — между лейтенантом Анатолием и рядовым Инькиным — остановились.

Лейтенант расстегнул кобуру, вытащил пистолет.

— Напра-во!

Четверо повернулись направо и оказались лицом к открытой «спаленке».

— Это гауптвахта. Вы будете здесь до Мурманска. До прихода патруля...

Ольга Ивановна, молча стоявшая в рабочей служебке, и Татьяна, молча стоявшая в туалете,— не видели происходящего. Слышали голос Анатолия: негромкий, твердый.

Ольга Ивановна с одобрением подумала: «Таким и должен быть голос у командира. Твердым, негромким».

Танька ничего не подумала. Она глядела на Ваню. Он стоял рядом с ней...

— Сержант, вперед! — командовал Анатолий.

Сержант сделал два шага вперед и, видимо, скрылся в «спаленке».

— Рядовой Харламов!..

Рядовой Харламов тоже сделал два шага вперед. И, видимо, тоже скрылся в «спаленке».

* * *

Лейтенант не успел назвать следующего: тот метнулся — мимо служебки и туалета — к Ване. Пнул носком сапога по стволу автомата. Ствол дернулся вверх.

Солдат, метнувшийся к Ване, вырвал у него автомат. Прикладом ударил Ваню в лицо.

Отшатнувшийся Ваня упал бы на спину,— если бы не Татьяна, стоящая за порогом открытого туалета.

В ту же секунду последний из этой четверки бросился на лейтенанта. Вывернул ему руку. Ударил ребром ладони. Кость хрустнула. Солдат отобрал у лейтенанта пистолет. Выстрелил...

Лейтенант упал.

Солдат еще выстрелил...

Из «спаленки» выскочили сержант и рядовой Харламов.

Увидев пистолет, Харламов потянулся за ним. Плачущим голосом запросил:

— Дайте мне, дайте мне...

Сержант отстранил Харламова. Потребовал у того, кто выстрелил:

— Отдай!

Выстреливший спрятал обе руки за спину.

Сержант сгреб его и так сжал, что тот вскрикнул.

Пистолет перешел к сержанту.

Сержант прицелился лейтенанту в голову.

Выстрелил...

До этого, третьего, выстрела лейтенант Анатолий был еще жив. Тело его дернулось...

Теперь он был мертв.

— Уходим в тамбур,— сказал сержант.

Солдат с отобранным у Вани автоматом открыл дверь тамбура. Пропустил этих троих. Ему оставалось тоже уйти и захлопнуть дверь.

Он не ушел...

Открытая зеленая дверь тамбура загородила от него распахнутый туалет. Солдат стволом автомата отвел ее...

На полу туалета сидел Инькин. За ним, поддерживая его, закрыв его лицо куском ваты, стояла проводница.

Солдат с автоматом передернул затвор.

Таня видела: из автомата, сбоку, вылетел патрон.

Ей стало страшно.

Вылетевший патрон покатился по коридору...

Тусклый, желтый, с розовым заостренным кончиком.

«Таким можно убить,— подумалось Тане.— Люди не приспособлены, чтобы в них стреляли такими большими патронами...»

— Ну что, Инькин, твой дружок там, а ты тут? Даю минуту. Споешь «чик-чирик»? Пой! Ну давай: «Чик-чирик...»

Ваня выпутался из рук Татьяны. Отбросил намокшую кровью вату. Не глядя, сдернул с умывальника полотенце — с разложенной по нему аптечкой. Скомкав, швырнул его в стоящего перед ним.

Тот, зло улыбаясь, наставил на Ваню автомат.

— Нет!.. — закричала Татьяна.

Она бросилась вперед, загородив Ваню собой.

— Нет!

— Тебе-то чего надо? Отвали, сучка. Уйди!..

— Не смей! — раздался голос Ольги Ивановны.

Солдат оглянулся...

На него шла старая проводница. В сжатой руке — молоток.

— Не смей! — грозно повторила старуха.

И замахнулась молотком.

Солдат нажал на крючок. Треснула очередь. Короткая автоматная очередь. Как ночью...

С открытыми остановившимися глазами Ольга Ивановна повалилась на пол...

* * *

Поезд стоял.

Пассажиры 9-го молча смотрели на свою проводницу.

Таня, понимая, что необходимо выставить красный фонарь: этого ждал машинист, ждал бригадир,— не двигалась.

Ею овладело безразличие к происходящему. Она никого не боялась, никого не жалела, никого не любила.

Равнодушно, как сквозь стекло, она разглядывала пассажиров...

Пожалуй, она уйдет от них. Ей опротивели все эти люди. Она не будет разговаривать с ними, не будет их успокаивать.

С какой стати?..

Они смотрят, смотрят на нее,— принуждая ее быть для них по-прежнему «проводницей Таней».

Нет.

Она откроет зеленую дверь тамбура, потом еще одну дверь: «уличную». И уйдет... Она больше не «проводница Таня».

Отвернувшись от пассажиров, Танька решительно направилась к тамбуру.

Солдат Ваня преградил ей дорогу.

— Нельзя, Татьяна Васильевна.

Танька улыбнулась солдату Ване.

Когда-то она любила его...

И улыбнулась ему, прощаясь с ним.

И нажала на рукоятку двери.

За дверью треснула автоматная очередь.

Ваня схватил проводницу, отволоч ее... Приложил к разбитым губам палец:

— Тихо!..

И странная, сонная одурь прошла.

Танька почувствовала себя как проснувшейся.

Рядом стоял Ваня. В пилотке, шинели.

Живой...

А бред со стрельбой из автомата Калашникова продолжался.

Тамбурная «пуленепробиваемая» дверь — пробита.

(Ваня потом объяснит: выстреливший стрелял в упор, проведя стволом поперек двери. Не успев развить скорость, три пули — с равным расстоянием одна от другой — все по одной линии — застряли в толстой доске, обитой с обеих сторон металлическими листами.)

Они застряли...

Застряв, показали, высунули заточенные розовые головки. Как три хищных, прожорливых червяка.

Прогрызших дверь.

И остановившихся, разглядывая человека...

Со страхом и омерзением Таня смотрела на эти просунувшиеся, пуново-розовые головки.

Со страхом и омерзением...

А Ване показалось, что проводница хочет потрогать их. Он прошептал:

— Не трогайте. Они еще горячие...

Таньке тут же представилось, что она, действительно, трогает их. Дождавшись человеческого прикосновения, они впиаются в ее кожу. И сосут кровь, подергиваясь от удовольствия...

Таньку передернуло. Она отвела глаза от застрявших путь и старалась не смотреть на них.

Сама дверь — зеленая, пробитая — оставалась закрытой.

За дверью — тишина.

(Четверо в тамбуре надеялись доехать до Мурманска. В Мурманске спрыгнуть и затеряться в толпе. Но поезд остановился!..)

Держась за Ваню, за его шинель, Татьяна все же приблизилась к двери. Прислушалась...

В тамбуре было тихо.

Нет, не совсем... Там шла какая-то возня.

И по звуку что-то знакомое...

«Они пытаются поднять тамбурный щит», — догадалась Татьяна.

Поднять его, чтобы сойти из вагона по лесенке.

Но щит, запертый ножкой, похожей на «лапу» (на «лапу» для обуви) не открывается.

«Они возятся со щитом...»

Чтобы поднять его, сначала нужно открыть нараспашку дверь, — вагонную, уличную. Потом отвернуть «лапу». Это проще простого.

«Лапа» освобождает пружину — щит откидывается, хлопая по стене.

И лесенка — для входа и выхода — открыта...

(Четверо в тамбуре — при тусклой, под потолком, лампочке — никак не могли разглядеть простое устройство «лапы».)

А поезд стоял...

Как они надеялись доехать до Мурманска! В Мурманске спрыгнуть и затеряться в толпе. И вот все рухнуло.

Бросив возиться с «лапой», она распахнула дверь.

И увидели...

Поезд стоит на насыпи. Влажной от сошедшего снега. Бурой песчаной насыпи. Глубокая, она круто уходит вниз.

Увидели, что вдоль состава к ним (к их вагону) идет человек. По виду «начальник». Длинный, в очках.

И увидели, что из всех вагонов, изогнувшихся по линии насыпи, выглядывают проводники.

И смотрят в их сторону.

Смотрят на них...

Не выдержав, первый из четверых — прыгнул.

Он убил лейтенанта.

Вторым — с отобранным у первого пистолетом (пистолет, как нож, был спрятан в сапог) — прыгнул сержант.

При его приземлении пистолет, запутанный скомканной, сбившейся портянкой, — выстрелил.

Взревев от боли, сержант сполз вниз. Достал пистолет, сунул его в карман шинели. Снял сапог. Размотав и выбросив мокрую от крови портянку, натянул сапог на голую ногу. И заковылял вслед за первым, убегающим от насыпи к перелеску.

Пистолет...

«Индивидуальное стрелковое оружие для поражения живых целей на расстоянии до 70 метров».

В магазине восьмизарядного пистолета (длина 15,5 см; масса 510 г), названного его конструкторами «ПСМ» и принадлежавшего лейтенанту Анатолию, оставалось четыре патрона.

Четыре пули.

Четыре других были уже израсходованы.

Три засели в шею и голову лейтенанта Анатолия, валявшегося в коридоре перед служебкой.

Четвертая — вошла в ногу неудачно приземлившегося — угодившего то ли в яму, то ли на камень — сержанта. Вошла в стопу правой его ноги и осталась там.

ПСМ...

П — пистолет, С — самозарядный, М — малогабаритный.

Авторы: Т. И. Лашнев, А. А. Самарин, А. Л. Куликов.
Пистолет спроектирован под патрон А. Д. Денисовой.
Вес патрона 4,8 г; вес пули 2,4—2,6 г; калибр 5,45 мм.
ПСМ...

Третьим из тамбура выпрыгнул рядовой Харламов.
Плачущим голосом он просил: «Дайте мне, дайте мне...»
Рядовому Харламову хотелось добить лейтенанта.
Ему не дали... Добил сержант.

* * *

Четвертый солдат с прыжком из тамбура медлил...
Он не хотел убивать старую проводницу.
И ведь командира взвода убил не он.
Он хотел пристрелить Инькина. Все началось из-за Инькина. Все из-за Инькина!..

И еще — «поэта»...

Мало они били их. То одного, то другого. Били их, заставляя петь:
«Чик-чирик...»

А они не пели, козлы. Их снова били. То в ленкомнате, то в каптерке. То одного, то другого.

И «поэт» — того... Хлоп себя!

Это он нарочно, гаденыш. Чтобы они Инькина больше не трогали.
Но и лейтенант сволочь: полез разбираться...

Сам же сказал: «Дашь образцово-показательный взвод!» Никогда не лез не в свои дела, и вдруг заинтересовался: что да, как да?

Испугался...

А кому он нужен, бывшая комсомольская вошь? Мало ли кто застрелился,— Кандалакша большая. У каждого — свое. У одного понос, у другого флюс, у третьего... Кто-то застрелится, кто-то получит медальку, кто-то сбежит, кто-то погибнет за Афганистан или Чечню...

А Кандалакша была и будет.

Кандалакша — это: «Равняйся! Смирно!»

Кандалакша — это: «Приказ командира — приказ Родины».

Кандалакша — это лучшие годы для пацанов.

Прощай, Кандалакша!..

Оттолкнуться и прыгнуть.

Автомат — вверх, чтобы в ствол не попал песок. (У Инькина — это его автомат — ствол был закрыт промасленной тряпкой.)

Вытащив ее,— он, четвертый, хотел пристрелить Инькина, а убил старуху.

Вытащив снова ту же промасленную затычку, он дал очередь по тамбурной двери: пусть не суются...

Вытащить бы и эту суку сюда: Инькина. Здесь бы и пристрелить.

А проводницу — молодую, загородившую Инькина — трахнуть. Всем четверым.

И тогда бы уж прыгать.

Как они раньше об этом не догадались!..

Теперь поздно, там старуха. Упав на колени, мертвая, она смотрела на него — приказывая и ему смотреть на нее.

У него волосы встали дыбом.

Все, хватит. С поездом кончено.

«Дождик капал на рыло и на дуло нагана...»

Он подошел к краю тамбура. Прикинул, что прыгнет в средину большой насыпи.

Разбежится — и...

Подняв руку, крепко сжав автомат, он — разбежался...

Оттолкнулся...

Прыгнул!..

Ремень автомата зацепился за что-то... За выступ какой-то палки. (Одной из двух вертикальных палок: поручней тамбура.)

Зацепившись,— вырвался из руки прыгнувшего.

И вывихнул ему кисть или плечо.

Прыгнувший взвизгнул!

Но не от боли: боли он еще не почувствовал. От ужаса...

Ему показалось, что кто-то выхватил у него автомат. Подкрался сзади и выхватил.

А куда он без автомата? Зачем он прыгнул без автомата?..

Сокращая прыжок, стараясь пресечь его, четвертый изогнулся...

Потерял равновесие...

Ткнулся головой в насыпь.

И медленно сполз с песком вниз.

* * *

А вверх, на высокой насыпи, стоял поезд.

Его 9-й вагон (тамбур) был распахнут и пуст.

Лишь автомат как некое недоразумение; как нечто оброненное, а спустя

время, кем-то найденное и подвешенное: прикладом вверх, стволом вниз — болтался на палке, брякая о вагон...

* * *

Татьяна, стараясь не задеть мертвую, привалившуюся к стене Ольгу, протиснулась в служебку за фонарем.

Солдаты молча следили за проводницей... Теперь она была единственным их начальством.

Сигнальный фонарь (так похожий на домик) — он где стоял, когда всего полчаса назад Татьяна пыталась наладить его, — там и стоял: на ступеньке раскладной деревянной лесенки.

Не упал при торможении. Упал бы, — разбился...

Татьяна взяла его, щелкнула рычажком. Окно домика высветилось тем же своим светом: красным.

«Такие дела в домике...» — подумалось Тане.

Кто-то окликнул ее:

— Извините...

Она обернулась. В дверях служебки — незнакомый солдат.

— Давайте, мы вам поможем. Скажите, что делать?..

Таня присмотрелась к солдату.

Это был тот, который, идя по вагону, выкрикивал: «Граждане!.. Граждане, освободите проход! Дайте пройти, граждане!..»

Да, он...

Под глазом — синяк.

Полуоторванный погон свешивается по рукаву.

Татьяну осенило:

— Это не вы сорвали стоп-кран?

— Я... — тихо ответил солдат.

— Спасибо вам. Я не могла...

Солдат сказал:

— Я видел.

— Испугались? — спросила Татьяна.

Покраснев, но не отводя глаз, он признался:

— Я вспотел даже...

— Как вас зовут?

— Петр. Скажите, что делать? Мы сделаем...

Татьяна пристально посмотрела на солдата.

— А вы не будете больше стрелять?

— Нет. Кончено...

Опустив глаза, солдат по имени Петя негромко договорил:

— В нашем взводе кончено с «дедовщиной».

— Мне надо идти,— сказала Татьяна.— Мне нужно отправить поезд. Боком, не задевая Ольгу, она протиснулась по коридору к тамбуру. Ваня, охраняющий вход в 9-й вагон, открыл ей пробитую зеленую дверь.

* * *

Быстро шагая вдоль поезда, повторившего линию насыпи (вогнутую внутрь себя: просматривался весь длинный состав), Миша видел, как из 9-го, «солдатского», один за другим выпрыгнули четверо.

Скатившись вниз, они потянулись гуськом к перелеску.

Их было видно. Солдаты...

В расстегнутых шинелях с поднятыми воротами. Без ремней. Как содержащиеся на гауптвахте...

Достигнув хвойного перелеска, они пропали из виду. Один за другим...

Пройдя перелесок, они медленно потянулись дальше. Не оборачиваясь... Уменьшаясь и уменьшаясь в размерах... Они шли напрямик, пропадаая, растворяясь в пейзаже,— «северном русском пейзаже с его сдержанной скромной палитрой».

С палитрой никаких изменений при этом не происходило.

То, что было вблизи, перед вагонами,— тоже оставалось без изменений.

Голое пространство между насыпью и перелеском выглядело голым пространством...

Реденький перелесок выглядел реденьким перелеском...

Насыпь — насыпью...

* * *

При выходе в тамбур 9-го зияющий проем тамбурной двери мог показаться художественным полотном.

Оно было в четкой прямоугольной раме.

Во всю раму — высотой в человеческий рост — какой-то художник-авангардист нарисовал небо.

Серое и пустое...

Вот как бывает с распахнутой дверью, когда поезд стоит на высокой насыпи.

Ничего, кроме серого пустого прямоугольника

Переложив зажженный фонарь в левую руку (еще не видя болтающийся со стороны «улицы» автомат), Татьяна нагнулась, чтобы открыть тамбурную площадку. (Металлический щит, запертый на замок, — на «лапу».)

Нагнулась — и прямо перед лицом увидела ствол автомата.

Она отшатнулась...

Автомат, зацепившись за поручень, спокойно висел вверх ногами.

Такой безобидный...

Из него только что прострелили дверь. Его поставили на Ваню. Из него, придуманного каким-то Калашниковым, — убили Олгу.

И вот он повис... Как тряпка...

— Ваня! — крикнула Танька, прыгая и свидетели рядового Инькина. — Смотри: автомат Калашникова!

Отцепив автомат, держа его за ремень (автомат оказался тяжелым), она раскачала его, чтобы выбросить из вагона

— Нет! — раздался истошный вопль. Стойте! Что вы делаете!..

Танька чуть не выронила автомат. Вот каким был раздавшийся крик... Пятясь, она провлокла автомат по металлическому полу (щиту). И, с недоумением глядя на Ваню, отдала ему автомат...

Ваня схватил его. Тут же отсоединил магазин. Перевернул затвор. (Сбоку из автомата — как тогда, в коридоре — вылетел, звякнув о металлический щит, патрон.)

Тускло-желтый... С выглядывающей розовой пулей...

Направив автомат стволом вверх (Танька подумала: «В лампочку!») рядовой Инькин нажал на крючок.

Автомат цокнул.

Не выстрелил...

Просто цокнул.

Вот что он сделал, Ваня. Вот он как поступил! Вот как должны поступать с автоматом Калашникова солдаты.

После этого рядовой Инькин поставил автомат на предохранитель.

Но это не все, оказывается...

Найдя вылетевший патрон, Ваня подул на него, сдувая грязь. Осмотрел... И сунул его в магазин, утопив его там, в магазине. А сам магазин (скошенный, вытянутый) спрятал в брезентовую сумочку на ремне. Справа от бляхи...

— Это подсумок, а не сумочка, — сказал Ваня.

Сделав то, что он делал, рядовой Инькин забросил автомат на плечо.

Правое...

Правая его рука была чистой, здоровой. А левая — все еще была перемотана тем носовым платком. Подаренным лейтенантом...

И вдруг, опустив лицо, рядовой Инькин заплакал.

— Это мой автомат,— проговорил он сквозь слезы.— Мой. А не Калашникова...

* * *

Когда его били, он не уронил ни слезинки. Когда на него наставили автомат, он сгреб полотенце, на котором была разложена собиравшаяся для него аптечка. И швырнул его в лицо уголовнику, положившему палец на спусковой крючок.

Уголовщине, положившей палец на спусковой крючок — или доставшей нож,— ничего не стоит выстрелить или ткнуть ножом.

Ткнул и пошел.

Не оглядываясь...

Ваня плакал.

Поставив на пол фонарь, Танька подошла к Ване, обхватила его голову. И поцеловала Ваню в закрытые, налитые слезами глаза.

И Ваня еще больше расплакался...

Танька, чувствуя свою вину перед ним, но не зная точно: какую,— тоже заплакала.

— Прости... Ну прости меня... Прости, Ваня...

Она заплакала от обиды.

На все!.. На автоматы. На Калашникова. На Кандалакшу...

Заставляющих человека забыть, что он человек. Заставляющих помнить, что он — «рядовой Инькин».

Но хватит!

Она остановила весь этот бред: автоматы, Калашниковы, Кандалакша...

Отойдя от Вани, Танька подхватила зажженный фонарь.

А Ване сказала:

— Смотри, что нужно сделать, чтобы открыть подножку.

Прижав ногой тамбурный щит, Танька отвела в сторону «лапу». И одновременно — ловко убрала ногу.

Резко откинувшаяся площадка хлопнула по предохранительной пробке — на боковой стене.

Подножка была открыта.

Для проводника это проще простого...

— Можно сойти? — спросил, перестав плакать, Ваня.

— Стой в тамбуре. Я сейчас.

И Татьяна вышла на «улицу».

Так проводники называют все, что начинается за окном поезда, за подножкой вагона.

«Улицей» на этот раз была скользкая, узкая, слегка протоптанная тропинка, втиснувшаяся между составом и краем насыпи.

Танька подняла фонарь.

97-й поезд (днем и ночью, ночью и днем) шел и шел на «зеленый».

Шел строго по расписанию.

У каждого пассажира — билет.

И вот все это: поезд, расписание и билеты — заскрежетав — остановилось. Потому что...

Потому что Ольга сказала:

«Не сметь!»

И оставшаяся в живых Танька высоко подняла фонарь...

Чтобы все увидели: загорелся «красный».

Чтобы все всполошились: «Красный!»

И протрезвели бы от своей невменяемости...

От выработанной десятилетиями привычки ехать и спать, спать и ехать — на заслуженный якобы ими «зеленый».

Остановитесь...

Остановись, поезд!

И жди.

Твои гудки и колеса, расписание и билетки, рассчитанные на уютный, приятный, «зеленый», — карточный домик.

В одном из твоих вагонов, поезд...

В одном из твоих вагонов — кровь. Везде кровь.

Стоять, поезд!

* * *

Из 9-го кто-то сошел. Гурина или Ошурова?

Гурина...

С красным поднятым фонарем.

Увидев выставленный (наконец-то!) красный фонарь, начальник 97-го почувствовал облегчение. Усталость и облегчение: пусть красный — но выставленный.

Миша посмотрел на часы. Поезд стоял уже десять минут. Десять минут!..

Местность, где стоял 97-й поезд, была не посещаемой, не навещавшейся... Ни солдатами, ни проводниками, ни шлюхами, ни милиционерами... Ни учителями русского языка и литературы...

Лишь мимоходом. Без гудка и без остановки. Мимо...

И вокруг веяло чем-то первым. Первобытным и чистым.

Лесотундра...

На сто километров в длину — на сто в ширину.

Тихо...

Безлюдье...

Однако тропинка, вьющаяся между составом и краем песчаной насыпи, говорила о том, что... Говорила приблизительно вот о чем: чтобы появилась такая тропинка, нужны ноги.

Не в тапочках...

Ноги, обутые в грубые башмаки. Возможно, выданные со склада.

То есть, и этот кусок полотна, и этот отрезок дороги, железной и северной,— тоже осматривался обходчиками.

Теми, которые называются «местными»; которые живут где-то неподалеку. Живут приблизительно так...

Рано ложатся спать. Рано встают.

Просыпаясь, выходят на крыльцо дощатого домика выкурить папироску.

Тихо...

Безлюдье...

Идя на выставленный фонарь...

Идя на отчетливый, даже назойливый, красный фонарь, выставленный 9-ым вагоном, Миша ломал голову: «Что там опять случилось? Что там могло случиться?..»

Подойдя к Татьяне, спросил:

— Что случилось? Кто остановил поезд?

— Я...— ответила Таня.— Так было нужно.

Помедлив, сказала:

— Зайдите...

Уставший, нервничающий начальник поезда молча посмотрел на нее. Поднялся в тамбур.

А Танька, забыв, что фонарь неисправен, переключила стержень, меняющий стекла...

И вот что за этим последовало: красное стекло фонаря — легко, без задержки — ушло вбок.

Фонарь загорелся обычным, простым светом. Походным.

Вспомнив, что фонарь неисправен, Танька повернула его к себе...

Горел обычный, простой свет. Походный...

— Но теперь-то все кончилось? — спросил Миша, поднявшийся в тамбур и обернувшийся.

Не веря своим глазам, Танька снова переключила стержень. Поднесла фонарь к лицу.

Обычный, простой свет. Походный.

Огонек фонаря — на своем языке — через Таньку — успокоил начальника 97-го:

«Да. Все кончилось».

А Таньке сказал:

«Кончилось, Танька, кончилось... Кончилось все».

— Кончилось!.. — выдохнула Танька.

И оторопела: как это «все»?.. Почему «все»?

И Ваня?..

Потемнела, скукожилась Танька. Заморгала, будто бы от сильного ветра. Захлопала глазами, чтобы не зареветь.

— Тогда поехали, поехали, — сказал Миша. — Мы стоим уже десять минут!

— Поехали... — согласилась отвернувшаяся в сторону, сдавшаяся подлой, несправедливой жизни — заплакавшая Танька.

Но жизнь, Танька, это и есть дорога: северная и железная.

А дорога — это и есть Бог.

БОГ.

СЕВЕРНЫЙ И ЖЕЛЕЗНЫЙ. Как жизнь...

Поэтому и сказано тебе:

— Поехали, поехали!

Едешь, Танька? Или останешься тут, с фонарем? Искать человека. Не такого недотрогу, как «рядовой Инькин».

А что же с ним, Танька, с твоим рядовым Инькиным? Кто его перевяжет? Кто простится с ним в Мурманске? Кто ему скажет: «Помни меня»?

Едешь?

Отвечай, Танька!

— Еду, — ответила заплакавшая навзрыд Танька, — сдаваясь Богу.

На Его усмотрение.

* * *

Утерев лицо рукавом черной суконной шинели, она помахала домиком-фонарем проводнику хвостового (№ 12) вагона.

Справа налево — слева направо. И снова: справа налево — слева направо.

Проводник хвостового помахал машинисту, но уже своим домиком-фонарем.

Справа налево — слева направо.

Справа налево — слева направо.

Все другие проводники (понимая возникшую перекличку), тоже выставили по домику-фонарю.

Цепочка из двенадцати огоньков означала для машиниста один огонек: «зеленый».

Раздался гудок.

Состав закрипел, заскрежетал. И тронулся...

И потихоньку-помаленьку пошел.

Пошел и пошел, повторяя последним вагоном плавный неторопливый изгиб насыпи.

До конца повторив его, поезд ушел.

Исчез.

Вот и все дела...

* * *

Некоторое время над опустевшей насыпью витало рассеянным облачком воспоминание об ушедшем поезде.

Воспоминание...

Метафизика...

Облачко.

Но хвойному реденькому перелеску,— ошеломленному гудком тепловоза; отшельникам-валунам, привыкшим к уединению и тишине. Строгому уединению и тишине;

рассвету, разбуженному суматохой;

всем им, безучастным к произошедшему на песчаной утрамбованной насыпи,— высокой, как пьедестал...

Всем — через минуту, другую — стало понятно: УШЕЛ.

Ушел поезд... Ушел куда-то... Неизвестно куда. Неизвестно зачем. Ушел...

Ну, ушел и ушел. Что поделаешь?
Может, еще вернется?..
Насыпь опустела.
Тихо...
Безлюдье...

ИЗ ТЕТРАДИ РЯДОВОГО АРТЕМОВА

Склонный к преувеличениям,
ты сказал:

«Мы забыты...»

Я ответил, что это не так;
я ответил, что, знаешь,
ты склонен к преувеличениям.

Просто нам этой ночью совсем не до писем.
Просто нам этой ночью совсем не до сна.

Мы из снега,
темно-синего, как маскхалаты;
из своих маскхалатов,
темно-синих, как снег —
смотрим в небо,
стоя в окопах.
Вырытых нами по горло,
вырытых каждому по себе,
каждому для себя.
Ждем отбоя красную вспышку...

Хлопнет ракета —
и снег
станет огромным и алым.
Наши лица, темно-синие лица,
заалеют, как оживут.
А мишени, стоящие перед нами
голыми и фанерными,
покажутся нам
на кого-то похожими.
Очень похожими на кого-то из нас.
На меня, на тебя...
На тебя из Великого Устюга,
на меня из Череповца...
Но ракета погаснет,
и снова:
маскхалаты и снег...
Синий снег и синие маскхалаты.
И мишени, пропавшие в темноте,
как ты или я,
«пропавшие без вести».

Эй, полковники,
ваши учения затянулись.
И, говоря откровенно,
мне и Ваньке
давно уже хочется спать.
Дайте «отбой», полковники.
Война —
разве то, во что вы играете?..
«Первая рота налево,
вторая рота направо».
Хватит, полковники,
валять дурака.
Выстрелите кто-нибудь из ракетницы!
Выстрелите из ракетницы в кандалакшскую тьму!

Вот и дождались:

ракета...

Эй, послушай, не засыпай.

Полковники передумали наступать
с криком «ура»

друг на друга.

Полковники заключили между собой мир.

До следующей зимы...

До следующей игры...

До следующих широкомасштабных учений.

Скажи, браток, куда вас гонят?

Скажи, браток, куда нас гонят?

Скажи, браток, куда нас гонит?..

Послушай:

А когда мы вернемся в казарму —
ты и я,

мы получим с тобой по письму —
ты и я.

Два письма:

одно из Великого Устюга,
другое из Череповца.

**КАК ДЕЛА У ТЕБЯ, КАНДАЛАКША? Как дела у тебя, Кандалакша?
А У НАС ТУТ, В ЧЕРЕПОВЦЕ... А у нас тут, в Великом Устюге...**

ВСЕ ПО-СТАРОМУ. Все по-старому... **ТО ЕСТЬ:**
ЖДЕМ, ЦЕЛУЕМ ТЕБЯ, КАНДАЛАКША! Ждем, целуем тебя, Канда-
далакша!
И ПОДПИСЬ В КОНЦЕ: ТВОЯ МАМА.

— Твоя мама.

Ветер выбьет из губ сигарету,
ветер выбьет из губ сигарету,
ветер выбьет из губ сигарету —

унесет красной точкой в темно-синюю пустоту...

СОДЕРЖАНИЕ

Дорога	3
Однажды	9
От пристани до затонувшего солнца	12
Другая сторона	18
Зимой рано темнеет	21
Скажи, браток... (<i>из повести</i>)	23

*Издание подготовлено к печати при поддержке
Администрации Вологодской области*

КУЧМИДА
Николай Павлович

СКАЖИ, БРАТОК...

ПРОЗА

Редактор *А. А. Цыганов*
Художник *Э. Ф. Фролов*

20 р.

Сдано в набор 29.11.2002 г. Подписано к печати 15.01.2003 г.
Формат 70х108/32. Бумага писчая. Гарнитура «Таймс».
Усл. печ. л. 3,33. Печать офсетная.
Тираж 999 экз. Заказ 3910.

Вологодская писательская организация
160035, г. Вологда, ул. Ленина, 2.
ПФ «Полиграфист», 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.

Теплоход отходил боком. Оставшиеся на берегу глядели на отодвигающийся от них борт... Думая о том вечере, когда сами поднимутся по дощатому трапу и так же медленно, у всех на глазах, отчалят от пристани. А теплоход, уходя дальше и дальше, приближался и приближался к узкой желтой аллее. Та начинала покачиваться, извиваться. Теплоход рвал ее — она разламывалась на куски, и волны раскидывали ее оранжевые обломки.

Но время шло, вода успокаивалась, а солнце краснело. И теперь поперек реки вытягивалась красная, тонкая, прерывистая тропинка.

«ВОЛОГДА • ХХІ ВЕК»

Николай КУЧМИДА

«СКАЖИ, БРАТОК...»

ВОЛОГДА • 2003